



*Фантастическая
повесть*

КОШМАРЫ УЗНИКА

Тибр капризной извилистой чертой разделял Вечный город на две части. По одну сторону на холме Монте-Ватикано высились крепостные стены — средоточие высшей церковной власти католицизма. От тяжелых ворот каменные дороги вели к переброшенным на другой берег мостам.

Из зарешеченного окошка в тюремной стене, обрывающейся к реке, нельзя было рассмотреть стоявших на страже у ватиканских ворот наемников-граубинденцев, одетых в двухцветные костюмы.

Вдалеке за мостами виднелся виадук со взлетающими под ним волнами арок древнего римского водопровода, рабами построенного и рабски скопированного римлянами с текущих открытых рек. И поднялось каменное русло водяного потока высоко над землей, без учета, что вода, как давно знали покоренные Римом народы, может течь и по подземным трубам, сама поднимаясь до уровня водоема, питающего водопровод. И просвещенные люди Древней империи, оказывается, не имели представления о законе сообщающихся сосудов, обыватели тех времен пользовались отверстиями в ложе виадука, платя за них величину, чтобы получить живительные струйки.

Там у мостов и виадука, у крепостных стен и на дорогах, в домах, в лесах, в горах кипел под солнцем мир людей с их страстями и надеждами, горем и счастьем, не запертых в казематах чужой мрачной волей, хотя при всей их кажущейся свободе большая их часть изнемогала от нищеты и непосильного труда, а меньшая — утопала в роскоши и пребывала в праздности. Однако все они ЖИЛИ, и ради них погружался узник в науки, размышляя о лучшей жизни и подлинной свободе для всех.

Он обладал впечатляющей внешностью и внутренней силой. Его лицо могло бы показаться хмурым, если не угадать в нем выражение пристального внимания. Пышные седеющие волосы острым «мефистофельским» мыском спускались на лоб мыслителя, увеличенный двумя высокими залысинами по обе стороны этого треугольника. Взгляд из-под темных, резко очерченных бровей был острым и пронизывающим, отражая ищущий пылкий ум. Прямой нос обрамляли две глубокие складки, оттеняя твердые линии губ. Бритый энергичный подбородок уходил в белый воротник грубой монашеской одежды.

Почти за тридцать лет, проведенных в этой одежде среди тюремных стен, казалось бы, можно привыкнуть к ним, забыть о солнце, звездах, о бушующем за решеткой тревожном мире, но не таков был узник!

Насильно вырванный из окружения людей, он остался с ними сердцем и душой, переносил их в созданный его воображением мир Справедливости и Всеобщего счастья. Неотступно изучая в неволе науки, он писал в темнице трактат за трактатом, заинтересовав ими в конце концов и отцов-тюремщиков, и отцов церкви, неодобрительно качающих головами по поводу его стремления помогать страждущим и угнетенным, осуждения сильных мира сего.

Но когда дело касалось звезд, интерес к трудам узника умножался, ему даже позволяли выходить по ночам на тюремный двор, чтобы наблюдать пророчащие звезды, ибо никто, как он, не умел читать по ним судьбы людей.

Перед тем как приступить в глухой камере к своим трудам, он забывался тяжким, тревожным сном, полным видений. С беспощадной

ясностью воскрешали сны все, что хотел забыть, ибо если он и жил, то лишь для будущего, а не для мрака минувшего.

Видел он себя и пятнадцатилетним Джованни Домеником, которого предназначал отец для юридической карьеры, собираясь отправить к родственнику в Неаполь.

Гневным вставал облик отца, узнавшего о намерении непокорного сына постричься в монахи. Но непреклонным оказался Джованни. Однако ни отец, ни обвиненный им в пагубном влиянии на сына его первый учитель-доминиканец, отец Антонио, не догадывались о том, что руководило юношей.

И в монастыре под прохладным его сводчатым потолком, когда сам настоятель постригал его в монахи, нарекая в монашестве именем Томмазо, не подозревал он, почему тот взял себе это имя, почему ушел из мира суеты.

Ответом на это служили видения узника, бывшие ответом того, что случилось в другой стране с совсем иным человеком, чье имя он взял себе вместе с факелом, как бы зажженным у Солнца, чтоб освещать им путь людей.

И ощущал во сне узник, что не Томас Мор, а он сам всходит на эшафот и с улыбкой дружески обращается к палачу с секирой, которой тот отсечет сейчас ему голову:

— Любезный, а ведь погода нынче не дурна? Не правда ли?

Так расстался с жизнью Томас Мор, друг Эразма Роттердамского, автор неумирающей книги «Утопия», что в переводе с древнегреческого языка означает «НИГДЕЙЯ», рассказывающей о «месте, которого нет на Земле», где живут люди, отказавшиеся от главного зла всех зол — от частной собственности, власти денег и неравноправия.

Однако не за это светоч мыслящих людей грядущих поколений, не за упорную борьбу против всех форм насильственной смерти, начиная с войн, кончая казнями, не за то, что недавний первый министр английского королевства отважно восстал против собственного короля Генриха VIII и разбойничьей политики «огораживания» с ограблением крестьян, а за то был признан Томас Мор святым, что отказался присягнуть этому королю как главе провозглашенной англиканской церкви, отколовшейся от католической. Но этот шаг был всего лишь каплей, переполнившей горькую чашу протеста несгибаемого философа против мрачного абсолютизма и грубого произвола.

Узник просыпался в холодном поту, словно именно его только что казнили на глазах у ревущей, жадной до таких зрелищ толпы.

Но другие его сны, еще более ранящие, воскрешали то, что происходило десятилетия назад с ним самим. Заточенный ум, не получая новых впечатлений, неумолимо воскрешал былое.

И вот он видит себя юным монахом, направленным завершить образование в Сан-Джорджо, но вынужденным заменить заболевшего старца, взойдя вместо него на кафедру собора в Козенце и приняв участие в высоком богословском диспуте доминиканцев с францисканцами.

Узник снова шептал на своей жесткой койке те красноречивые слова и неопровержимые аргументы, которые повергли тогда всех его оппонентов и сделали его признанным победителем-доминиканцем, чего ему не могли простить те, кто стал его врагом.

Их мести пришлось ждать недолго. Святая инквизиция схватила слишком ретивого юного монаха, обвинив его по доносу в пользовании книгами, которые по велению папы были в монастыре под запретом. Ведь только эти книги, цитированные им, могли принести ему победу на диспуте!

Но как изобретательно защищался он, назначенный отцом в юристы! Как поставил «святых» судей в тупик, приведя все «крамольные цитаты» из других дозволенных книг, доказав, что если кто видел эти цитаты в запрещенных книгах, то незаконно и пользовался ими!

Пришлось столь же начитанного, как и находчивого, юнца отпустить.

Но неукротимый его нрав вскоре сказался. Томмазо обрушился на вышедшую книгу знаменитого итальянского юриста и философа Якова Антонио Марты «Крепость Аристотеля против принципов Бернардина Телезия». Томмазо был страстным последователем Телезия.

Но слишком честным воспитал себя узник, чтобы составлять гороскопы, которым не верил бы сам. В этом и была его давняя беда! При всей своей внутренней силе он оставался все же человеком, не лишенным слабостей и предрассудков. Однако в искренности ему ничто не смогло бы отказать ни теперь, при чтении по звездам судеб неизвестных ему людей, ни почти тридцать лет назад, когда коварное расположение звезд подсказало ему, что якобы пора действовать.

И это время оживало в его кошмарах.

Как живой виделся ему его боевой друг Маурицио де Ринальди, статный, смелый, увлеченный, весь бушующее пламя, рыцарь свободы! С ним вместе возглавляли они заговор против испанской короны, поработившей родную им Калабрию, а звезды подсказали Томмазо в этом дерзком деле успех!

Пламя восстания должно было вспыхнуть от факела, зажженного Томмазо, как он хотел думать, от Солнца, сливающегося у него с образом обожаемой матери.

Но на помощь Марте пришла инквизиция, схватив Томмазо по двойному обвинению: в оскорблении генерала ордена и в сочинении богопротивной книги «О трех обманщиках».

Узник вновь видел во сне вытянувшиеся лица судей в сутанах, когда он доказал им, что генерала монашеского ордена нельзя оскорбить, ибо в уставе ордена говорится, что его члены отрекаются от всего суетного и мирского, оскорбление же следует отнести к несомненной суетности. Генерал же ордена в своей бесспорной святости нарушить устав не может. Что же касается книги «О трех обманщиках», то, как в этом легко убедиться по ее титульному листу, она издана до его рождения.

Нет, недаром отец метил его в юристы, немало смог бы он сделать на этом пути!

Но он избрал другой путь, где собственные заблуждения наряду со светлыми стремлениями сыграли в его жизни роковую роль.

Пробуждаясь от своих снов, узник брался за неизменные занятия. Трактаты чередовались с составлением гороскопов для суеверных лиц, которые за деньги проникали к нему через тюремщиков, чтобы узнать по лишь одному узнику известному расположению звезд свои судьбы.

Если Томмазо умел через странствующих по всей Калабрии монахов зажигать жадой восстания умы людей, то Маурицио де Ринальди готовил непримиримый кровавый бой. Чтобы собрать для него силы, он не останавливался ни перед чем.

Монахи во главе с первым соратником Томмазо Деонисием Понцио подготовили крестьян, Маурицио де Ринальди привлек на свою сторону дворян. Не прошли мимо его внимания и отважные, хорошо вооруженные люди. Правда, они были разбойниками, став ими из-за бедственного и беспросветного существования. И они ненавидели испанцев не только за их господство на итальянской земле, но и за то, что те толкнули бывших тружеников на разбой. Маурицио договорился с вождями шаек, обещая им, что свержением испанского владычества они заработают себе прощение.

Но этого казалось де Ринальди мало. Испанцы держали связь с Испанией по морю и могли получить подкрепление. И тогда Маурицио пошел на сговор... с турками! Ведь Томмазо, его соратник и вдохновитель заговора, относился терпимо к любой религии, так почему же не воспользоваться силой турецкого флота, которым командует перешедший в мусульманство итальянец Синан Цикала, не переставший любить свою родину и готовый помочь ей?

Кроме Маурицио де Ринальди, были еще два друга по заговору, с которыми вместе они выбрали срок восстания — 10 сентября. Он видит во сне лица этих двух «друзей». Если бы был он художником, то писал бы с них портрет Иуды.

Кошмарным видением встает трагический день, когда великолепный Маурицио де Ринальди, красавец, созданный для жизни и любви, певец с редким по тембру тенором, был схвачен на глазах Томмазо, идя к условленному месту встречи с ним.

Испанские солдаты скрутили ему руки, сорвали шпагу, били его алебардами, не считаясь с тем, что он дворянин.

Потом Томмазо видит себя переодетым в крестьянское платье, в котором он пробирался к морю, чтобы бежать в Сицилию.

Уже из рыбацкой лодки вытащили его грубые испанские солдаты и, избивая, поволокли к городу.

Жуткими вставали дни суда, сулившего Маурицио и Томмазо, и всем другим участникам заговора немедленную казнь.

Сон воспроизводит чувство, которое тогда овладело Томмазо при виде крушения всех надежд.

Необычайный подъем ощутил в себе узник, когда понял, что сошел на него в тот памятный день огонь самого Солнца.

Ради того, чтобы не загасить зажженный светилком факел в его руках, Томмазо выбирает для себя вместо быстрой и легкой казни самые невероятные мучения, которые решает выстоять.

Снова сказался в нем недюжинный юрист, однако он действовал теперь против него самого.

Холодный кошмар воссоздает картину грозного суда. Еще ни одному подсудимому не удавалось избежать уготованной ему кары, ни одному, кроме Томмазо, который доказал суду, что он ему неподсуден, ибо... еретик.

Да, еретик!

Он объяснил свои действия заговорщика так кощунственно, что у судей, верных католиков, волосы встали дыбом.

И греховного Томмазо тотчас выделяют из числа обвиняемых, как заклятого еретика, подлежащего папскому суду, неизмеримо более жестокому, чем военный суд испанской короны.

Лишь взглядом попрощался Томмазо с Маурицио де Ринальди, понявшим, что друг его идет на нечто более страшное, чем смерть.

Бодрствуя, узник никогда не решился бы вспомнить всего затем последовавшего, но мозг безучастно воскрешал видения в новых кошмарах. Ринальди уже не было в живых, как и других заговорщиков, а Томмазо должен был вытерпеть нечеловеческие муки, поклявшись самому себе, что не произнесет ни слова. И эти муки, принятые от «святых отцов инквизиции», переживались им снова во сне.

С мрачной тьмой сливался тюремный застенок, оборудованный изуверскими приспособлениями, призванными причинять нестерпимые страдания. Снова и снова видел себя в этом застенке узник измученным и искалеченным, подвергнутым всем «христианским» способам мучений, включая дыбу, на которой вздергивали пытаемого, выворачивая ему руки, «испанский сапог», железное вместилище для ног, сжимаемое винтами, дробящими кости, плети со свинчаткой, иглы, загоняемые под ногти,

колодки для выламывания суставов, раскаленные прутья, прожигающие живое мясо до костей.

Его спас епископ Антонио, приехавший из Рима по велению папы, чтобы познакомиться с показаниями еретика-доминиканца, и не узревший в них деяний колдуна, ибо распространял еретик бога на всю природу, как бы растворяя его в ней, что не противоречило истинной вере, хоть и расходилось с церковными канонами. А потому Томмазо был приговорен не к сожжению, подобно другому мыслителю того времени, Джордано Бруно, а «к пожизненному заключению».

Десятилетия понадобились, чтобы зажили инквизиторские раны и узник смог снова мыслить и писать трактаты, посвященные благу людей, так упомянув в одном из них свои страдания: «Они (Солярии) доказывали, что человек свободен, если даже сорокачасовой жесточайшей пыткой враги не смогли вырвать у почитаемого философа, решившего молчать, ни слова, то и звезды, действуя издали неощутимо, не заставят нас поступать против собственной воли».

В пятидесяти тюрьмах, куда его из боязни побега перемещали, провел все эти годы Томмазо Кампанелла, один из ранних провозвестников научного социализма, отрицавший первейшее из зол — «священное» право собственности.

Фамилия КАМПАНЕЛЛА в переводе означала КОЛОКОЛ. Колокол и был изображен на титульном листе первого прижизненного издания знаменитого «Города Солнца».

ОТЕЦ ГОРОДА СОЛНЦА

Из тяжелых ватиканских ворот, открытых граубинденцами, одетыми в двухцветную форму, сначала вырвался всадник. Вслед выехала карета на огромных колесах с загнутыми выше ее крыши рессорами, к которым она была подвешена. Кардинальский знак украшал лакированные дверцы.

При виде кардинальского экипажа прохожие тотчас бросались к нему, и по дороге до места по обочинам толпились люди, что объяснялось не только религиозным рвением жителей Вечного города, но и тем немаловажным обстоятельством, что монсеньор кардинал Антонио Спадавелли, состоящий при папском дворе, имел обыкновение выбрасывать в толпу из окошка кареты пригоршни звонких монет, которые благоговейно, хотя и не без свалок, подбирались верующими.

Переехав мост, карета резко свернула в сторону, направляясь вдоль берега Тибра. Горожан, приветствующих кардинала, здесь уже не оказалось, но особо ретивые католики, быть может рассчитывающие на

поживу, некоторое время бежали от моста вслед за каретой, крича хвалу кардиналу, но, к их огорчению, кардинал больше не выбрасывал монет.

Карета минула развалины дворца Нерона, где тиран приказал своему воспитателю философу-стоику Сенеке, презиравшему человеческие страсти и даже смерть, в доказательство этого вскрыть себе вены.

Глядя на руины, кардинал вздохнул, подумав о мудреце, всю жизнь боровшемся со страстями человеческими, а воспитавшего зверя в образе человека, о котором люди спустя тысячелетия вспоминают с содроганием. Что осталось от тех языческих времен, кроме руин, лишь «мертвый язык» латынь, на котором говорят не народы, а ученые и священнослужители другой, истинной, религии.

Карета приблизилась к тюремным стенам.

Ворота тюрьмы были предусмотрительно открыты, а взмыленный конь граубинденца стоял подле них.

Карета, гремя железными ободьями колес, въехала в тюремный двор, слегка покачиваясь на рессорах.

Сам начальник тюрьмы подобострастно бросился открыть дверцу и спустить подножку.

Поддерживаемый юрким начальником тюрьмы и жирным тюремным священником, кардинал с трудом сошел на землю.

Опираясь на посох, он направился к входу, согбенный годами, с аскетическим лицом, на котором все же былым огнем горели черные глаза старого доминиканца отца Антонио.

С огромным усилием, несколько раз останавливаясь, чтобы отдышаться, поднялся кардинал Спадавелли по каменной лестнице.

Перед ним низкорослый начальник тюрьмы с остреньким лисьим лицом суетился так угодливо, что, казалось, он сейчас бросит под ноги кардиналу свой щегольской камзол, поскольку не успел постелить для монсеньора ковер.

Около нужной камеры процессия остановилась. Монах-тюремщик, гремя ключами, отпер замок.

Знаком руки кардинал отпустил всех.

Шум открываемой двери разбудил узника, прервав его сон, который на этот раз не повторял былые мучения. Ему чудилось, что в призывном грохоте открылись ворота «Города Солнца», его воплощенной Мечты.

В этом Городе не должно быть собственности, все в нем общее. Никто не угнетает другого, не заставляет работать на себя. Каждый обязан трудиться по четыре часа в день, отдавая остальное время отдыху и самоусовершенствованию, наукам и искусствам. Все жители Города живут в регулярно сменяемых ими помещениях, едят общую пищу в общих трапезных. Они сами выбирают себе руководителей из числа ученых и священнослужителей. В Городе устранены причины, вызывающие зло, там

нет денег, нет смысла иметь одежды больше, чем каждый может сносить, роскошь презирается так же, как почитается мудрость. В Городе нет прелюбодеяний и разврата потому, что люди там не связывают себя семьями на вечные времена. Детей же воспитывает государство, в которое входит не только Город Солнца, но и все города страны Солнца. Она общается с другими странами, никому не навязывая своего устройства, но и не допуская чужеземцев приносить с собой иные порядки, для соляриев непригодные, а потому солярии овладели военным искусством настолько, чтобы отразить любые набеги. У себя они допускают разные религии, не подвергая никого гонениям за то, что кто-то молится по-другому, чем его соседи. Солярии больше жизни любят свой Город Солнца и его порядки, тех же, кто нарушает устои Города, они, не прибегая к казням, навечно изгоняют из страны.

Во сне открылись ворота, и Томмазо Кампанелла вскочил чтобы войти в них. Но, открыв глаза, увидел перед собой кардинала в сутане с алой подкладкой, а шум «ворот», разбудивший его, был звуком захлопнувшейся двери в его камеру.

Что-то знакомое почудилось узнику в согбенной фигуре, опирающейся на посох.

— Джованни, мальчик мой! — сквозь слезы произнес Антонио Спадавелли.

Томмазо упал на колени, стараясь поцеловать иссохшую старческую руку.

— Отец мой! Учитель! Монсеньор кардинал!

— Встань, сын мой. Годы почти сравняли нас с тобой, и каждый из нас стал другому и сыном и отцом. Лишь одному богу известно, как переживал я твои мученья, стараясь хоть молитвою помочь тебе.

Томмазо встал с колен.

— Быть может, потому я и могу говорить: «Мыслю, следовательно, существую», — с горькою иронией произнес узник, потом пододвинул кардиналу табурет и сам присел на край тюремной койки.

— Да, ты мыслишь и, к счастью, существуешь. Воздаю должное твоей силе, в которую воплотилось желание господи спасти тебя. О мыслях же твоих я и хотел поговорить с тобой.

— Боюсь быть плохим собеседником. Эти стены за десятилетия отучили меня от общения с людьми.

— Но ты и мыслил и писал для них. Чего ж ты добивался, пытаешься доказать, что не напрасно получил имя КОЛОКОЛ?

— Учитель, вы услышали его звон, мой голос? Но мне вспоминать ваш голос — это воскрешать былое, переноситься в блаженные для меня дни детства, любви и свободы, а тепло семьи!

— Семья! Твой отец жестоко обвинил меня, — печально произнес кардинал. — Из-за твоего решения покинуть светский мир я, поверь мне, безвозвратно потерял тогда семью, ставшую мне поистине родной. С тех пор уже около полувека я одинок среди людей

— Я тоже одинок, учитель, но только в каземате, — ответил узник. — Семья! Как странно слышать! Хотя нег ничего для меня дороже образа моей матери, отец мой!

— Не только для тебя, — многозначительно произнес Спадавелли.

Томмазо поднял настороженный взгляд, представив себе, каков был его учитель-доминиканец пятьдесят лет назад. Тот предостерегающе поднял руку.

— Да, да! Я относился к тебе как к сычу, боготворя твою мать, воплощавшую на земле ангела небесного. Но не смей подумать греховного! Память ее и для меня, и для тебя священна! И не нарушен мой обет безбрачия, данный богу. Однако, угадав в тебе вулкан, готовый к извержению, невольно сам же пробудив в тебе готовность встать на бой с всеобщим злом, я, каюсь, испугался и хотел спасти тебя любой ценой, об этом же молила меня и твоя мать.

— Спасти?

— В своей наивности неискушенного бенедиктинца я слишком полагался на высоту монастырских стен, стремясь укрыть за ними твой мятущийся неистовый дух, ибо любил тебя, быть может, даже больше, чем твой собственный отец.

— Укрыть меня в монастыре? Но разве это получилось?

— Конечно, нет! Нельзя в темнице спрятать Солнце!

— Вы верите, учитель, в мой факел, зажженный светилом?

— В твой «Город Солнца»? Тогда скажи мне прежде, что ты хотел в нем сказать?

— Учитель, позвольте мне прочесть сонет о сущности всех зол. Он вам ответит лучше, чем я мог бы сам сейчас придумать.

— Твои стихи я ценил еще в твоём детстве. Я выслушаю их и сейчас со вниманием.

Томмазо встал, оперся рукою о стол, глядя на пробившийся через зарешеченное окно солнечный луч, и прочел:

*Я в мир пришел порок развеять в прах.
Яд себялюбья всех змеиных злее.
Я знаю край, где Зло ступить не смеет.
Где Мощь, Любовь и Разум сменят Страх.*

*Пусть зреет мысль философов в умах.
Пусть Истина людьми так овладеет,*

*Чтоб не осталось на Земле злодеев
И ждал их полный неизбежный крах.*

*Мор, голод, войны, алчность, суеверье,
Блуд, роскошь, подлость судей, произвол —
Невежества отвратные то перья.*

*Пусть безоружен, слаб и даже гол,
Но против мрака восстаю теперь я.
Власть Зла сразить Мечтой я в мир пришел! ¹*

Кардинал низко опустил голову, задумался, потом обратился к узнику:

— Стихи твои, Томмазо, умом и сердцем раскалены. Но разве святая католическая церковь не борется со злом?

— Бороться с ним, монсеньор, мало, замаливая и отпуская грехи. Надобно устранять причины зла.

— Не те ли, что ты изложил в своем трактате «Город Солнца»?

— Я рад, учитель, что эти мои мысли знакомы вам.

— Тогда побеседуем о них. Начнем с мелочей.

— Истина не знает мелочей, учитель мой. Я с детства запомнил эти ваши слова.

— Джованни, мой Джованни! Твои воспоминания волнуют меня. Но «Город Солнца» написан уже не Джованни, а Томмазо.

— Томмазо Кампанеллой, помнящим заветы недавнего мученика Томаса Мора, монсеньор.

— Причислен он к святым и почитаем церковью. Итак, начнем хотя — бы с места, где ты поместил свой Город Солнца. Оно ведь неудобно. У экватора еще ни один народ не достигал расцвета.

— Я думал, учитель, что культура не расцветала там не от того, что солнце в полдень жжет над головой, а потому, что не-устраненные причины зла позволяли множиться порокам.

— Все это так, но разве не лучше поставить твой Город у моря при впадении рек, чтобы удобнее было сообщаться со всем миром? Купцы, торговля издревле способствовали распространению знаний.

— Мой Город, учитель, строит свою жизнь, не отказываясь от общения с другими народами, но не по их правилам. Выкорчевывая причины всех зол, мои солярии заинтересованы не столько в мореплавании и купле-продаже, не в обогащении при удачной торговле, сколько во всеобщем счастье, когда продаются не чужеземные товары, а каждый житель получает из городских богатств все потребное человеку, презирающему всякое излишество.

¹ Здесь и далее переводы А. Казанцева.

— Но кто же им предложит столько товаров?

— Никто, учитель! Они сделают их сами. Ведь трудиться будут все без исключения: ученый, жрец, ваятель, воин — все выйдут на поля или в мастерские для ремесел. Ведь если посчитать у нас богатства, которые создаются людьми низших сословий, но принадлежащие по праву собственности сильным, знатным и богатым, что тратят их на роскошь, пресыщение и войны, и если представить, что эти богатства распределены между всеми, то окажется, что бедных-то и нет совсем! И не от заморских купцов будет счастье у соляриев, а от их собственного труда.

— Труд труду рознь. Всегда найдется работа черная и неприятная для всех.

— Ее будут выполнять те, кто преступил устав.

— Но как же ты хочешь создать Город с новым укладом, когда не было в истории человечества таких примеров? Безгрешной общины быть не может. Апостол Павел говорил: «Если мы думаем, что не имеем греха, то обманываем самих себя».

— Пусть не было таких уставов в жизни, но это не значит, что их не может быть! Люди не знали о существовании Америки, веря святому Августину, считали, что нет за ее океаном. Мореход Колумб из Генуи открыл и новые земли, и глаза людям. Точно так же нельзя отрицать возможность создания «Города Солнца», города без частной собственности.

— Томмазо, ты замахнулся на основу основ! Хочешь срубить сук, на коем зиждется всемирный распорядок. В своем стремлении победить несправедливость ты готов лишить людей основных их прав.

— Каких прав, учитель? Права собственности? Но ведь она и есть причина главных зол, порождение богатства одних и бедности других, роскоши сильных и нищеты угнетенных, вынужденных трудиться не на себя!

— Не может существовать того, чего не было на свете!

— Почему же не было, учитель мой? Вернемся снова к первым христианам, у которых в общинах все было общим. И апостолы хранили и восхваляли эту общность имущества.

— Но общины исчезли.

— Однако устав их все же остался... в монастырях.

— Ты хочешь, чтобы весь мир стал одним монастырем?

— А почему бы и нет? Если устав хорош для братии, отчего же всем людям не стать братьями?

— В монастыре обет безбрачия, а в Городе Солнца кощунственная общность жен! Тому ли я учил тебя?

— Нет, нет, учитель! Мы привыкли во всем видеть собственность: на землю, на корабли, на скот, на жен! Позорны гаремы, где женщина —

рабыня, средство наслаждения, жертва похоти, и даже в наш век женщина, увы, становится рабой своего мужа-господина. А я хотел бы видеть женщин во всем равными мужчинам, и «общими» они там будут лишь для свободного выбора из их числа подруг. Такими же «общими» для них станут и мужчины-мужья. Откинуть надо в слове «общее» всякое представление о собственности на женщин и мужчин при вступлении их в брак, когда он считается нерасторжимым до самой смерти, что противоестественно, ибо подобный пагубный обычай и порождает такие пороки, как измена, прелюбодеяние, ревность, ложь, коварство, блуд. Виной тому становится угаснувшее чувство любви, заменяемое принуждением, расчетом, выгодой или привычкой, когда жить вместе приходится под одной кровлей уже чужим, а порой и враждебным людям. Соединение пар должно быть свободным и ни в коем случае не быть продажей тела, как на невольничьем рынке.

Кардинал глубоко вздохнул.

— Какое заблуждение! Ты просто не знавал любви, несчастный! Не ведал страстного, бушующего чувства, когда из всех живущих на Земле тебе нужна всего одна, одна! Не знал щемящего томления, не вынужден был подавлять зов сердца!

И снова Кампанелла с тревогой взглянул на Спадавелли, слова которого звучали как стихи, и внезапно прервал его отчужденным голосом:

— Прошу вас, монсеньор, не трогайте памяти моей матери.

Кардинал вздрогнул и поднял глаза к небу.

— Клянусь тебе именем Христовым, что, говоря это, я вспоминал лишь горькие мученья, которые сам испытал, подавляя чувства и убивая плоть. Ты сын мне названный, сын по привязанности моей к юноше, которого учил. И все же мне жаль, что тебе не удалось испытать тех страданий, которые возвышают душу.

— Страданий я познал, учитель, больше чем достаточно. Но я не знал любви к одной, ее мне заменяла любовь ко всем, учитель! Любовь прекрасна, я согласен, хоть ни в монастырских, ни в тюремных стенах мне не привелось к ней прикоснуться.

— В своем стремлении к счастью всех людей ты готов лишиться их той вершины, которой ни тебе, ни мне не привелось достигнуть.

Реклама

— Нет, почему же! Разве в «Городе Солнца» наложен на любовь запрет?

— Запрет? Скорее замена любви распутством, похотью, развратом!

— Ах нет, нет, мой учитель! Как не были распутными первые христиане, чью святую стойкость мы с удивлением чтим, не будут распутными и солярии. Пусть по взаимному влечению соединятся они в любящие пары и так живут, пока жива любовь, без принуждения, без

выгоды, не за деньги, не за знатность! О каком же распутстве здесь может идти речь?

— Но принуждение у тебя все-таки есть. В деторождении.

— Дети — долг каждой пары перед обществом и богом. Но дети, составляя будущее народа, принадлежат государству и воспитываются им.

— Насильно отнятые у родителей?

— Зачем же это так видеть? В древней Спарте детей, больных и слабых, неспособных стать красивыми, сильными, мудрыми, сбрасывали со скалы. В «Городе Солнца» об их здоровье станут заботиться до их рождения, поощряя обещающие пары, как происходит то в природе, там отцом становится всегда сильнейший. И вовсе здесь не будет служить препятствием любовь, если она соединяет лиц, достойных иметь потомство для народа Солнца. Только такие пары и должны дарить стране детей.

— Но не воспитывают их. Не так ли?

— Их воспитывает государство.

— Разве здесь нет насилия?

— Позвольте спросить вас, монсеньор. Допустим, герцог, граф или любой крестьянин, горожанин узнает, что у его ребенка порча мозга, возьмется ли он долотом пробить ребячий череп и срезать опухоль — причину уродства?

— Конечно, нет! Здесь нужен лекарь с его искусством и умением.

— Вот видите! А мозг ребенка подвергать увечью неумелого воспитания любой родитель сочтет себя способным? Вы думаете, что сделать ребенка достойным человеком менее сложно и требует меньшего умения, чем продолбить ему череп, коснувшись ножом его мозга? Не каждый, кто родить сумеет, способен воспитать. Вот почему воспитывать детей должно лишь Государство, готовя для того столь же искусных ваятелей ума, как и врачей, способных ножом и долотом спасти от порчи мозга.

— Мир отнятых у матерей детей! Мир, где каждый мужчина вправе пожелать любую женщину! Гарем всеобщий! Содом! Гоморра! Нет, сын мой, не знаю, кто рассудит нас.

— Время, монсеньор, время! Чтобы узнать, нашли ли люди верный путь, готов проспять хоть тысячу лет.

— Бедняга, ты в забытье здесь прозябаешь тридцать лет!

— Я не терял времени, монсеньор, иначе не состоялась бы наша встреча! Наш разговор...

— Наш разговор? Он не коснулся еще твоей склонности к звездам.

— Вы хотите осудить меня за это?

— Нет. Ты сам писал, что влияние далеких звезд на нас неощутимо мягко и наша воля может им противостоять. За это церковь тебе многое прощает.

— И хочет знать, чему противопоставить волю?

— Ты почти угадал.

— Я понял вас, учитель! Как жаль, монсеньор, что вас привели ко мне звезды, а не Солнце!

— Напрасно ты противопоставляешь звезды Солнцу. Они все едины — небесные светила.

— Не рознь светил небесных я имел в виду, а лишь причину, заставившую вас найти меня.

— Пусть моя просьба составить гороскоп не оскорбит тебя, защищенного любовью к людям.

— Просьба — это просьба, не приказ. Она взывает к добру, от кого бы ни исходила. Ее исполнить — долг. Мне нужно лишь узнать год, месяц и число рождения человека, судьбу которого должно угадать по звездам.

— Так запиши, сын мой.

И кардинал Спадавелли сообщил узнику все, что необходимо было знать астрологу для составления гороскопа.

Кампанелла побледнел, но старался овладеть собой. Он понял, что кардинал приехал, чтобы узнать, что уготовил Рок самому святейшему папе Урбану VIII, хотя имени его не произнес никто из них.

Кампанелла пронизательно взглянул на кардинала. Пусть он согнут годами, но взгляд его горит. Неужели он пожелал узнать срок перемен на святом престоле и не назовут ли его имени во время новых возможных выборов, когда всех кардиналов запрут в отдельных комнатах Ватикана и не выпустят до тех пор, пока не совпадет названное ими имя нового папы?

Кардинал Антонио Спадавелли опустил свои жгучие глаза. Но думал он о другом, о том страшном дне, когда ему, тогда еще епископу Антонио, удалось предотвратить жестокую и позорную казнь мыслителя, чьи мысли он опровергал, не отказывая им в светлом стремлении к благу людей. Тогда несчастный, измученный Томмазо был почти без чувств и не узнал его среди инквизиторов и палачей, вынужденных подчиниться представителю папского престола, наложившего потом на них епитимью за пользование нехристианскими способами дознания, отбивших за эту провинность положенное число поклонов.

Но кардинал Антонио Спадавелли ничего не сказал об этом своему бывшему ученику и ныне несгибаемому противнику в споре.

Благословив опального монаха, он оперся на посох, встал и отворил незапертую пока тюремную дверь.

ЧЕСТЬ И КОВАРСТВО

Велика была власть главы католической церкви папы. Государи считались

с ним, искали в нем опору и в интересах церкви вступали в войны, кровь верующих лилась рекой, не столько за истинную веру, сколько за влияние тех, кто ее представляет в одном или другом лагере.

И бились католики с последователями Лютера в германских государствах, в Дании и в Швеции, с гугенотами во Франции, с непокорными папской власти англичанами.

И когда во Франции вождь удачливых в ту пору гугенотов Генрих Наваррский взшел на престол, ему все же пришлось принять католичество и с благословения папы стать католическим королем Генрихом IV, правда оговорившим некоторые привилегии своим бывшим соратникам-единоверцам. Однако кинжал фанатика, к удовлетворению Ватикана, покончил с королем Генрихом IV. А к слабому, потом оказавшемуся на его престоле Людовику XIII заботой папы был приставлен возведенный к м в кардиналы Ришелье. В 1624 году одновременно с назначением его первым министром Франции, несмотря на его духовный сан, ему было присвоено высшее для всех стран военное звание генералиссимуса.

И беспредельной стала власть истинного правителя Франции кардинала Ришелье, умного, коварного и льстивого. Когда же после подавления крестьянских бунтов и усмирения строптивых вассалов он достиг вершины своего могущества, ему уже мало стало покорной Франции с ее послушным королем, окутанным кардинальской лестью. Его высокопреосвященство не столько в интересах папы, сколько ради европейской гегемонии втянул Францию в Тридцатилетнюю войну с истощенными уже ею странами. Король же, предоставив кардиналу все государственные и военные заботы, предавался развлечениям, восторгаясь лихими проделками своих мушкетеров, и смотрел сквозь пальцы на их дуэли с гвардейцами кардинала, в особенности если они были удачны для мушкетеров и неприятны его высокопреосвященству.

Король считал, что путь в высшее общество прокладывается шпагой, и прекрасно знал, что кардинал уважает тех, кого несет на своих крыльях Удача. К тому же искусники фехтования, к которым без достаточных оснований причислял себя и король, настоятельно требовались Франции, поскольку скорое окончание войны не предвиделось.

Ришелье отлично понимал, что преданность — дитя личной выгоды, потому был так же щедр к тем, кто верно служил ему, как беспощаден к врагам, впрочем, всегда готовый привлечь их на свою сторону.

Кардинальский дворец на площади, куда вливалась улица Сен-Онорэ, стала пристанищем тех, кто добился милости всесильного кардинала, карабкаясь по лестнице благополучия.

В богатых залах толпились и пропахшие потом суровые воины с торчащими усами в пыльных камзолах и грязных ботфортах, и искусные

в дворцовых интригах, надушенные аристократы в богатых одеждах с кружевными панталонами.

Грубая сила сочеталась здесь с искусством лести, солдатские шутки с кичливостью и изяществом манер вельмож.

Среди этой пестрой толпы бесшумными тенями сновали скромные монахи с опущенными глазами, в сутанах, опоясанные вервием, при их отрешенности от всего суетного мирского излишне внимательные ко всему, что говорилось вокруг.

По настоящему совету своего неизменного помощника и земляка итальянца Мазарини кардинал Ришелье решил пополнить своих сторонников из числа самых отменных дуэлянтов. Ему надоели насмешки короля за вечерней шахматной партией по поводу очередных побед мушкетеров над гвардейцами в поединках, которые не наказывались королем. Потому и потребовались теперь его высокопреосвященству сорвиголовы, не менее отважные, чем те, которые служили в роте мушкетеров.

Мазарини всегда угадывал желания кардинала и позаботился представить ему столь же бездумных, как и отчаянных, дворян, у которых владение шпагой заменяло все остальные достоинства.

Немало бравых забияк, сознающих свои грешки, со страхом, какого не испытывали при скрещивании шпаг, побывали в библиотеке среди книг и рыцарских доспехов, «представ пред орлиные очи рыцаря креста и шпаги» герцога Армана Жана дю Плесси, кардинала де Ришелье, который предлагал им выбор между безоглядным служением ему и Бастилией с маячившим за нею эшафотом.

Надо ли говорить, что эти его посетители без колебаний предпочитали шпагу в руках во славу кардинала и Франции петле на шее за нарушение указа короля.

И вот одним из таких посетителей, которому предстояло сделать подобный выбор, в кабинете Ришелье оказался однажды и самонадеянный юноша, снискавший славу необыкновенного дуэлянта Савиньон Сирано де Бержерак, «бешеный гасконец», гордо прошедший сквозь толпу гвардейцев в приемной кардинала, уже знавших, что прокатываться на счет носа гасконца небезопасно, ибо он обладал не только этим «украшением» лица, но еще и ядовитым языком, так жалящим дворянское самолюбие, что вызов «оскорбителя» на дуэль становился необходимостью, а результат поединка при его неподражаемом владении шпагой предрешенным.

Мазарини считал, что приглашенный им на этот раз бретер может оказаться весьма полезным, скажем, в роте гасконцев, могущей достойно противостоять не столько враждебным Франции армиям испанцев или

англичан, сколько мушкетерам капитана де Тревиля. Знал это и кардинал Ришелье.

Кардиналу Ришелье перевалило за пятьдесят, но он выглядел крепким, бодрым, полным энергии и властолюбия.

Сирано де Бержерак предстал перед всемогущим кардиналом, оглядывая убранство кабинета, принадлежащего скорее ученому, чем государственному деятелю. Он явственно ощущал на себе испытующий взгляд его высокопреосвященства, облаченного в кардинальскую мантию с алой подкладкой. Лицо первого министра Франции было еще красиво с подкрученными усами и острой бородкой воина. На груди его красовалась золотая цепь с крестом.

— Сударь, — начал кардинал, опуская веки, — мне горестно напоминать вам, что нарушителям указа короля, запретившего дуэли, уготовано место в Бастилии.

— Воля короля и вашего высокопреосвященства для тех, кто готов отдать жизнь за Францию, священна.

— Не лучше ли отдать ее на поле брани, чем на эшафоте, сын мой? Будем откровенны. Сколько дуэлей на вашем счету?

— Сто, монсеньор, — вставил находившийся тут же незаметный в серой сутане, но подражающий своей внешностью Ришелье Мазарини.

— Сто? — переспросил кардинал, сверкнув глазами.

— На моем счету нет ни одного вызова на поединок, ваше высокопреосвященство, — сказал, гордо вскинув голову, Савиньон Сирано де Бержерак.

— Как так? Перед отцом церкви и первым министром короля вы утверждаете, что ни разу никого не вызвали на дуэль?

— Ни разу, ваша светлость!

— Но вы участвовали в поединках, нарушив тем волю короля!

— Разве его величеству более угодны трусы, бегущие от противника и пятнающие дворянскую честь? — вместо ответа с задором спросил Сирано.

— Не спорю, господин де Бержерак. Дворянская честь дорога королю, как и мне, его слуге. А у вас, как мне кажется, репутация в отношении защиты чести завидная. По части же острословия я и сам убедился в том, задав вам, как припоминаю, несколько вопросов на выпускных экзаменах коллеги де Бове.

— Я готов служить Франции всем, на что способен, если вы того пожелаете, ваше высокопреосвященство.

— Кому, кому служить? — нахмурился кардинал. Он привык слышать о готовности служить ему или хотя бы королю.

— Франции, ваше высокопреосвященство.

— Франции? Это похвально, — недовольно заметил кардинал. — Но служить надобно и церкви, во имя которой десятилетиями льется кровь истинно верующих.

— Я готов стоять с ними рядом, пока мыслю и существую.

— Если не ошибаюсь, это формула философа Декарта?

— Совершенно верно, ваше высокопреосвященство. Декарт считает, что мир познается через наши чувства, и душа человека в соединении с его телом позволяй ему обрести способность мыслить, а следовательно, и существовать.

— Не кажется ли вам, молодой человек, что наша святая вера учит нас иному?

— По мнению Декарта, слепая вера слепа, а он своим учением помогает людям прозреть.

— И вы придерживаетесь этого лжеучения?

— Не вполне, ваше высокопреосвященство, ибо Декарт не объясняет всего многообразия мира, но тем не менее я преисполнен уважения к этому титану мысли.

— А известно ли вам, что святейший престол осудил его творения?

— Я не святейший пастырь, чтобы осуждать Декарта, ваше высокопреосвященство, но уважать его считаю за честь.

— Считаете за честь?

— Как и его предшественника Томмазо Кампанеллу, который, будучи предан богу, учит людей жить справедливо и честно.

— Уж не «Город Солнца» ли ранил вашу буйную голову, которую вы готовы сложить за Францию?

— За Францию и за свои убеждения, ваша светлость.

— Не хотите ли вы также сказать, что убеждены в своей готовности защищать неугодного папе Декарта или Фому Кампанеллу, приговоренного за ересь к пожизненному заключению?

— Готов в равной степени защищать убеждения обоих этих мыслителей как свои собственные.

— Тогда вам полезно узнать, сын мой, что на основании буллы святого папы римского, запретившего еретические книги Декарта, эти сочинения будут преданы огню сегодня ночью в присутствии истинных католиков вблизи Нельской башни.

— Это недопустимо, ваша светлость!

— Что вы хотите этим сказать? Уж не решитесь ли вы помешать благому делу?

— Сочту своим святым долгом, ваше высокопреосвященство!

— Интересно, как вы это сделаете? — спросил кардинал с усмешкой, откидываясь на спинку кресла. — Готов биться об заклад, что это вам не удастся! Один против целой толпы?

— Вот видите, ваше высокопреосвященство, вы сами ставите меня в такое положение, когда я не могу не принять ваш вызов, чтобы не слыть трусом!

— Мой вызов? — сделал удивленный вид кардинал.

— Конечно, ваша светлость! Вы только что предложили мне побиться с вами об заклад, что мне не защитить книг уважаемого мной мыслителя Декарта от какой-то там толпы.

— И вооруженных стражников, — добавил кардинал.

— И вооруженных стражников, — согласился Сирано.

— И против всех вы будете в одиночестве?

— Нет, почему же, ваша светлость! Со мною будет моя шпага!

— За меньшие проступка и дерзость я мог бы отправить вас в Бастилию, но я имел неосторожность обмолвиться, что готов побиться с вами об заклад, — сказал кардинал. — А мое слово, слово председателя Королевского совета, не уступает королевскому.

— Это известно всей Франции! И я буду рад служить тому доказательством!

— Итак, бьемся об заклад? — со скрытым коварством спросил Ришелье.
— Что же вы ставите, сударь?

— Свою голову, ваше высокопреосвященство, и завещание, передающее вам мою долю отцовского наследства.

— Благородно, но негусто! — с нескрываемой насмешкой произнес кардинал. — Или вы слишком высоко цените свою голову?

— Даром я ее не отдам во всяком случае

Кардинал, будучи в душе игроком, увлекся игрой и, предвидя ее исход, забавлялся с молодым человеком как кошка с мышкой, подобно его любимому коту, который нацеливался прыгнуть ему на колени.

— В случае моего выигрыша, надо думать, ваша голова не достанется мне (за ненадобностью!), но ваша доля из отцовского наследства, переданная мной одному из монастырей, послужит богу. Так пишите, господин Сирано де Бержерак!

Мазарини по знаку кардинала подвинул Сирано письменные принадлежности. Сирано взял гусиное перо с пышным оперением и попробовал его остроту на язык.

— Пишите, — стал диктовать Ришелье. — «Если я, Сирано де Бержерак, гасконский дворянин, не смогу защитить от толпы сторонников святой католической церкви предназначенных для сожжения книг лжефилософа...»

— Простите, ваше высокопреосвященство, — почтительно перебил Сирано, — но закладную записку пишу я, и в ней недопустимы паралогизмы.

— Как, как? — изумился кардинал.

— Противоречия и несоответствия, ваша светлость. Потому с вашего позволения, поскольку я не могу отстаивать книг лжефилософа, я напишу «философа».

— Пишите хоть дьявола! — гневно воскликнул Ришелье. — У кого вы учились после коллежа де Бове?

— У замечательного философа Пьера Гассенди, ваше высокопреосвященство.

— У того, кто опровергает Аристотеля, опору теологов святой католической церкви?

— Именно у него.

— И все его ученики так же задиристы, как вы?

— Каждый по-своему, ваше высокопреосвященство, например, мой товарищ Жан Поклен под именем Мольера ставит свои едкие комедии.

— Скажи мне, кто твои учителя и товарищи, и я скажу, кто ты, — заметил Ришелье, поморщась при упоминании Мольера.

Мазарини тем временем неслышно покинул кабинет и, войдя в приемную, поманил к себе одного из монахов в сутане с капюшоном на спине.

Он что-то пошептал ему, тот кивнул и, смиренно наклонив голову, стал пробираться к выходу через толпу посетителей, ждавших окончания важного разговора кардинала.

Мазарини вернулся в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь.

— Каюсь, ваше высокопреосвященство, — говорил меж тем Сирано, — некоторых из своих учителей мне пришлось высмеять в комедиях «Проученный педант».

— Я знаком с этой вашей комедией, — с неожиданной улыбкой произнес Ришелье, — и мне хотелось бы, сын мой, направить ваш поэтический талант на более благородную стезю, если бы вы согласились остаться поэтом при мне.

— Никогда, ваша светлость! В ответ я прочту вам единственные строчки, которые в состоянии посвятить вам:

*Как дикий конь, брыкаясь в поле,
Не станет слушать острых шпор,
Так не пойдет поэт в неволю,
Чтобы писать придворный вздор!*

Кардинал вскипел и даже вскочил на ноги, сбросив с колен убравшегося туда кота.

— Довольно! Ваши несчетные дарования равны лишь вашей дерзости, которую вам придется защищать со шпагой в руке, как вы это делали в отношении других своих особенностей.

— Каждый из нас, ваше высокопреосвященство, в закладе, на который мы бьемся, будет защищать не столько свое лицо, сколько свою честь.

— Решусь заметить вам, молодой... слишком молодой человек, что язык ваш — враг ваш!

— Не спорю, враги появляются у меня из-за моего языка, но я усмиряю их. И так же намерен поступать и впредь.

— Усмиряете? — Кардинал сделал несколько шагов за столом. — Усмиряют и диких коней в поле, сколько бы они ни брыкались.

— Насколько я вас понял, ваша светлость, вам нужны не усмиренные, а бешеные кони, которым вы как наездник всегда отдавали предпочтение. И я надеюсь на свои «копыта».

— Всякая надежда хороша, кроме самонадеянности. Но мы слишком отвлеклись, сын мой. Вы не подписали закладную записку.

— Извольте, я заканчиваю, рассчитывая получить такую же закладную записку от вас, ваша светлость, как от защитника высшей дворянской чести прославленного герцога Армана Жана дю Плесси, не только первого министра Франции, но и ее первого генералиссимуса, кардинала де Ришелье! Заклад так заклад!

— Я никогда не откажусь от своего слова, сказанного хотя бы лишь в присутствии одного Мазарини.

Мазарини, успевший вернуться, поклонился.

— Я поставил свою жизнь и отцовское завещание, теперь очередь за вами, ваша светлость! — сказал Сирано, передавая записку Ришелье.

— Надеюсь, этого перстня окажется достаточно? — И кардинал повертел на пальце тяжелый бриллиантовый перстень.

— Я не ношу перстней, не будучи слишком богатым, и не торгую бриллиантами, будучи слишком гордым. Против моей жизни и моего посмертного наследства я просил бы вас, ваше высокопреосвященство, поставить другую жизнь и пенсию.

Ришелье искренне удивился. Что за дьявол сидит в этом большеносом юнце, позволяющем себе так говорить с ним? Но он скрыл свое возмущение за каменным выражением лица.

— Вот как? — с притворным изумлением произнес он. — Чья же жизнь и чья пенсия вас настолько интересуют, что вы готовы прозакладывать свою голову?

— Если я ее сохраню, не допустив глумления над творениями философа Декарта, то вы, ваше высокопреосвященство, воспользуетесь своим влиянием при папском дворе и испросите у святейшего папы Урбана VIII освобождения из темницы предшественника Декарта Томмазо Кампанеллы, проведшего там почти тридцать лет.

— Вы с ума сошли, Сирано де Бержерак! Чтобы кардинал Ришелье, посвятивший себя борьбе с бунтарями, стал вызволять из тюрьмы

осужденного на пожизненное заключение монаха, написавшего там трактат «Город Солнца»?

— И еще десяток трактатов по философии, медицине, политике, астрономии, а также канцоны, мадригалы и сонеты!

— Одумайтесь, Сирано! О чем вы просите?

— Я вовсе не прошу, ваша светлость. Я называю вашу ставку против своей, если вам угодно будет на нее согласиться.

Кардинал вышел из-за стола и стал расхаживать по кабинету.

Монах, получивший распоряжение Мазарини, прошел от дворца кардинала мимо Лувра, перебрался по мосту на другую сторону Сены, где возвышалась Нельская башня с воротами, и остановился около людей, приготовлявших по приказу кардинала по случаю дня святого Эльма вечерний костер перед нею, огонь которого должен отразиться в реке и быть видным из окон королевского дворца, позабавив тем короля и придворных.

Другой монах, руководивший приготовлениями к этой ночной иллюминации, выслушав переданное ему распоряжение, кивнул и куда-то поспешил, отдав оставшимся распоряжения.

Кардинал же не мог прийти в себя от упоминания о Кампанелле.

— Город Солнца! — гневно восклицал он. — Вот чему учил вас этот Гассенди! Недаром преследуют его братья иезуиты! Город, где будто не будет ни знатности, ни собственности! Все общее! Даже... дети.

— Они принадлежат государству и воспитываются им. Во главе же государства стоят ученые и священнослужители, как и у нас теперь во Франции, где в лице вашего высокопреосвященства воплощено и то и другое. Позволю себе напомнить, что Кампанелла попал в тюрьму тридцать лет назад за организацию заговора против испанского владычества в Южной Италии, безусловно вам враждебного. И вы могли бы указать святейшему папе Урбану VIII, что, предоставив Кампанелле Свободу, он обретет знатнейшего астролога.

Ришелье задумался.

— Астролога? — переспросил он. — А его не винит за это католическая церковь?

— Католическая церковь не может преследовать астрологов, если они пользовались вниманием не только вашего высокопреосвященства, но и святого папы Павла V и самого Урбана VIII.

— Однако вы осведомлены о многом, слишком о многом, — сердито заметил Ришелье. — Пойдет ли это вам на пользу? Впрочем, пишите, Мазарини, — приказал он.

Тот устроился у стола, взяв у Сирано гусиное перо.

— Боюсь, моя закладная записка не доставит удовольствия испанскому королю, — вслух размышлял Ришелье.

— Клянусь вручить ее только вам, ваше высокопреосвященство. И ради одного этого остаться в живых!

— «Уполномочиваю гвардейца гасконской роты королевской гвардии господина Савиньона Сирано де Бержерака оказать отцу Фоме Кампанелле по прибытии его во Францию, в чем содействовать ему, гостеприимство от имени французского правительства, заверив отца Фому, что он получит достойное его убежище, уважение...»

— И пенсию, — добавил Сирано.

— И пенсию, — многозначительно повторил Ришелье.

Мазарини передал ему бумагу, и кардинал поставил под нею размашистую подпись.

Вручив записку Сирано, он движением ладони отпустил его.

Сирано почтительно раскланялся и направился к двери, стараясь не задеть концом своей длинной шпаги за столики с книгами и развернутыми картами.

Уже вслед ему кардинал заметил:

— Помните, господин де Бержерак, что в гасконскую роту королевской гвардии принимают только живых.

Сирано обернулся.

— Обещаю, ваше высокопреосвященство, после усмирения толпы у костра близ Нельской башни вступить в роту благородного господина де Карбон-де-Костель-Жалу, благодаря вас за оказанную мне честь.

Ришелье, сидя в кресле, величественно наклонил голову, пряча злорадную усмешку.

Когда Сирано вышел, Ришелье деловито сказал Мазарини:

— Постарайтесь, друг мой, чтобы толпа у костра близ Нельских ворот была не меньше...

— Ста человек, — подхватил Мазарини. — Я уже распорядился.

— Вы, как всегда, угадываете мол мысли! Но какой у него нос, Мазарини! Словно он дарован ему самим дьяволом.

— Даже сам сатана не поможет ему этой ночью, — мрачно заверил Мазарини.

— Да, да! И позаботьтесь, чтобы записку взяли там... Завтра она должна лежать на моем столе.

КОСТЕР У НЕЛЬСКОЙ БАШНИ

Не надо думать, что двадцатилетний Сирано де Бержерак покидал кардинальский дворец победителем. Напротив, мгновенный подъем духа, овладевший им перед лицом могущественного кардинала, сменился

упадком, и он горько размышлял о своем дерзком отказе от благ приближенного к Ришелье поэта и о рискованном мальчишеском споре с ним об заклад, объясняемых непомерной гордостью, которая скорее прикрывала его слабость, нежели отражала силу. Его гордыня заставила его отказаться от обеспеченности придворного поэта, оставшись вместе со своей свободой творчества в прежней бедности.

Франция XVII века виделась Савиньону совсем не такой, какой выглядит из нашего времени триста с лишним лет спустя. Быть может, великий романист, блистательный Дюма-отец, остривший, что для него «история — гвоздь, на который он вешает свою картину», живописуя на ней дворцовые интриги, любовные похождения и скрещенные шпаги, все-таки был ближе к пониманию молодым Сирано де Бержераком его времени, хотя тот и ощущал чутьем духовную пустоту вокруг себя, клокодавшую несправедливостью, ханжеством, непрерывной борьбой французов против французов, или сводящих между собой мелкие счета, или защищающих чуждые им интересы враждующих вельмож. А то и натравляемых друг на друга пастырями церкви, принуждающими молиться лишь по-своему.

В ту пору Сирано де Бержерак никак не предвидел, что проложит когда-нибудь путь великим французским гуманистам, таким, как Жан-Жак Руссо, Рабле, Вольтер, подготовившим умы людей к вулкану французской революции.

У Савиньона же даже его детское воспоминание о поджоге отцовского шато никак не связывалось с полыхавшими по всей Франции крестьянскими бунтами, жестоко подавляемыми тем же Ришелье. Зная лишь философов древности и преклоняясь перед современными ему мыслителями Кампанеллой, Декартом, Гассенди, в отличие от них он становился вольнодумцем. Идя дальше проповедуемой Кампанеллой терпимости к любой религии или попытки Декарта при отрицании слепой веры доказать существование бога математически, Сирано, опираясь на материализм Демокрита, развитый Гассенди, готов был вообще отказаться от веры в бога, допускающего на земле торжество зла, жестокости, изуверства и преступлений. Некоторые из пап причастны были и к отправлению неугодных, к ложным обвинениям в ереси, а один раз даже к скандальному обману, когда после смерти очередного папы выяснилось, что он был... женщиной. Причастны многие папы были и к тягчайшим злодеяниям, творимым от их имени святой инквизицией. И бог их, представителем которого, как наместники святого Петра, они себя провозглашали, никогда не приходил на помощь страждущим и несчастным, обещая им избавление от всех бед лишь в загробной жизни.

Сознание всего этого зрело в уме отважного дуэлянта, воспринимавшего жизнь с одной лишь стороны, считающего, что шпага,

которой он виртуозно владел, решает все. Однако он с горечью думал, что его успехи могут быть названы «удачами неудачника».

Однако, холодно размышляя, он уже понимал, что вечером, когда враги в неистовой толпе накинута на него со всех сторон, шпага едва ли окажется лучше перышка.

Шагая по Парижу карет с гербами на дверцах, храпящих, цокающих подковами запряженных цугом лошадей, надменных всадников в шляпах с перьями и подобострастно кланяющихся простолудинов с унылыми, сытыми или веселыми лицами, толстых, переваливающихся с ноги на ногу матрон и куда-то спешащих хорошеньких парижанок, Савиньон, погруженный в себя, ничего этого не замечал, направляясь прямо а былой свой коллеж. Там он нашел экзекутора и впервые по собственной воле провел вместе с ним три часа в свободном, к счастью, карцере, после чего уснул мертвецким сном.

И ему снилась первая встреча с экзекутором, только что появившимся в коллеже де Бове индейцем из племени майя, которому предстояло истязать провинившегося Сирано двадцатью пятью ударами плетью со свинчаткой. А он, едва закрылась дверь камеры порок, упал на колени перед Савиньоном, приняв его из-за носа, начинающегося выше бровей, за потомка белокожих богов, тысячелетия назад побывавших на полуострове Юкатан. Так экзекутор стал тайным другом «юного потомка богов», обучив его приемам божественной борьбы без оружия с движениями, ускоренными в три—четыре раза, и силой удара, умноженной в десять с лишним раз.

Индеец еле растормошил его, когда начало смеркаться, заставив проделать упражнения на быстроту движений.

Карета кардинала, запряженная бешеными лошадьми, обогнала Савиньона, когда тот еще только шел днем по парижским улицам. Кардинал спешил в Лувр сообщить королю важную вест. Но она не касалась, конечно, ведущихся военных действий, отраженных на разложенных в кабинете Ришелье картах, бесед с послами союзных по Тридцатилетней (как впоследствии ее назвали) войне с обескровленными ею странами, в первую очередь с Испанией и габсбургской династией. Дело на этот раз для короля было куда более важное, способное привести его величество в хорошее расположение духа, которого он со вчерашнего проигрыша в карты пятисот пистолей был лишен.

Несмотря на стремление короля Людовика XIII выглядеть всегда величественно, все же ему не удавалось скрыть природной пронырливости и своих порывистых движений. Выставленная вперед голова с топорщащимися подкрученными усами. тяжелая бурбонская нижняя часть лица, скрашенная остренькой бородкой, создавала впечатление, что королю все время надо что-то выискивать для себя особо приятное, могущее доставить удовольствие.

— Ваше величество, хочу напомнить вам, что сегодня день святого Эльма, — обратился к нему со смиренным, но многозначительным выражением в голосе кардинал Ришелье.

— Да заступится он за нас перед всевышним, — пробормотал король. — В нашей стране мы чтим его наравне со справедливостью, о которой печемся.

— Это известно всей Франции, потому я и решился сегодня, ваше величество, предоставить вам удовольствие.

— Удовольствие? — насторожился король. — Охота, бал или что-нибудь менее людное? — со скрытым значением произнес он, улыбаясь и пряча лукавый взор.

— Зрелище, ваше величество! Еще вчера я приказал привезти к Нельской башне и сложить напротив вашего дворца изрядный запас топлива, и сегодня, когда стемнеет, там будет разложен великолепный костер, который волшебным образом отразится в Сене и даст возможность и вам, ваше величество, и ее величеству прекраснейшей из королев, и всем вашим приближенным получить наслаждение от редкой, невиданной дотолем иллюминации.

— Как это вам пришло в голову, Ришелье? Вы радуете меня! Я уже думал, что умру со скуки, вы ведь знаете, как она мучает меня!

— Огни, ваше величество, вспыхивающие в грозные дни божьего гнева на устремленных в небо остриях церкви святого Эльма, навели меня на мысль, что день этого святого, даже вдали от его церкви, надо отмечать огнем. И это будет красиво!

Король оживился:

— Вы истинно государственный человек, кардинал! Ваши предлагаемые мне решения всегда проникнуты высшей мудростью. Мы с вами будем вместе наблюдать за вашей выдумкой, сидя у окна за шахматным столиком. Вчера я так досадно проигрался в карты!

— Вам, несомненно, удастся взять реванш за шахматной доской, ибо я не знаю другого такого мастера этой игры, как ваше величество.

— Можно подумать, что я никогда вам не проигрываю.

— Только из снисхождения, ваше величество.

— В таком случае мы разыграем испанскую партию, хотя вы и терпеть не можете испанского короля.

— Моя задача — освободить вас от этих докучливых политических забот, ваше величество.

— Хорошо, кардинал! Я сам объявлю придворным о предстоящем зрелище, уготованном нам вашей заботой. Пришлите ко мне церемониймейстера двора.

Кардинал величественно поклонился, но не двинулся с места. Лишь когда какой-то вельможа стал раскланиваться с ним, он послал его, как лакея, за церемониймейстером.

Король повел носом и усмехнулся. Ему было приятно хоть чем-нибудь досадить кардиналу.

К вечеру по случаю иллюминации, посвященной святому Эльму, о чем прошел слух по всему Парижу, обитатели Лувра во главе с королем и королевой Анной, не утратившей своей легендарной красоты, теснились у окон, выходивших на Сену, каждый на своей половине. Силуэт Нельской башни с открытыми в ней воротами вырисовывался на чистом небе. Костер разожгут одновременно с закрытием Нельских ворот.

К берегу Сены перед Лувром стали съезжаться богатые экипажи, а в их числе карета с графским гербом на дверцах, в окошке которой виднелось прелестное личико графини с кокетливой родинкой на щеке.

Ее уже ждал спешившийся всадник, по-крысиному ловко юркнувший к открытому окну остановившейся кареты.

— Что нового у вас, маркиз? — жеманно спросила графиня де Велье, ответив на церемонное приветствие своего приближенного. — Вы перестали баловать меня пикантными подробностями, а это грозит вам потерей моего расположения.

— Упаси бог, графиня! Лучше мне попасть в клетку смертников. Но я сумею увильнуть от этого, поскольку у меня припасено нечто особенное!

— Что? Что? — почти высунулась из окна прелестная графиня. — Неужели она и он?.. Ах, это просто ужас!

— О нет, мадам! Еще пикантнее!

— Не мучьте меня, я сгораю от нетерпенья!

— Сгорать будете не вы, а нечто совсем другое, графиня!

— Это связано как-нибудь со святым Эльмом? Говорите же!

— Огни святого Эльма возгораются в дни божьего гнева, громяющего в небесах. Сегодня можно ждать грома.

— Боже мой! Гром в ясном небе? Мне страшно.

— На этот раз гроза будет особенной. Не в небе, а на земле.

— Может быть, здесь небезопасно и нам лучше уехать?

— Вас отделит от нее река! На том берегу, мадам, произойдет это пикантное, я бы сказал, событие.

— Как? У Нельских ворот, у всех на виду? Срам какой! Вы просто невозможны, маркиз.

— Костер, разложенный для всеобщего удовольствия, будет не простым.

— Ну ясно, не простым. В честь святого Эльма. Я тоже поминала его в своей утренней молитве.

— На костре будут сожжены книги Декарта, осужденного святейшим папой.

— А кто это такой? Еретик? Так почему же его самого не сожгут на этом костре?

— Он успел укрыться в Нидерландах, мадам.

— Какая жалость! Я никогда не видела сожжения людей! Говорят, они кричат. От одной только мысли об этом у меня мурашки бегут по спине.

— Я хотел бы быть одной из этих «мурашек».

— Оставьте вы! У меня замирает сердце!

— Вашему столь дорогому мне сердцу еще придется замереть сегодня, мадам.

— Неужели? Значит, его все-таки поймают и сожгут?

— Если не его, то кое-кого другого вам придется помянуть сегодня в своей вечерней молитве. Вы видите эту карету?

— Конечно! Кто в ней?

— Баронесса де Невильет. Она явилась сюда ради него...

— Боже мой! Она же стара, у нее столько морщин. И все-таки ради кого-то примчалась сюда? Поистине «маленькая собачка до старости щенков»!

— Графиня! Вы так же прекрасны, как злы! Она приехала ради своего крестника.

— Вот как? Кто это?

— Если вы помните, на вечере у нее нас забавлял стишками молодой скандалист, который потом отделал шпагой бедного графа де Вальвера.

— Этот, с безобразным носом? Вероятно, он не пользуется успехом у дам. И вряд ли может иметь отношение к чему-нибудь пикантному.

— Если не считать пикантным поединок одного человека со многими.

— Сразу несколько поединков! И на глазах у короля, их запретившего! Это действительно пикантно! — И дама залилась звонким хохотом. — Какой же вы шутник, однако!

— Король запретил поединки между двумя дворянами, а мы с вами, вместе с королем из Лувра, посмотрим, как Сирано будет отбиваться от целой толпы простолюдинов, истинных католиков, возмущенных его намерением вопреки воле святейшего папы помешать сожжению книг.

Именно так рассуждал и король Людовик XIII, когда после дебюта начатой с кардиналом шахматной партии тот сообщил ему о дерзком желании Сирано вмешаться в святое дело, порученное монахам, весь день собиравшим по монастырям книги Декарта.

— Конечно, кардинал, мы с вами запрещали только поединки чести между двумя противниками, — говорил король, — но отнюдь не все виды сражений, иначе нам пришлось бы капитулировать даже перед Испанией.

— Это так же не может случиться, ваше величество, как победа одного безумца над ста противниками.

— Но в шахматах, ваше преосвященство, я люблю пожертвовать вам все фигуры, чтобы последней поставить мат.

— Но перед костром у господина Сирано де Бержерака не будет ни одной фигуры для жертв, кроме самого себя.

— Посмотрим, посмотрим, — нетерпеливо завертел выставленной вперед головой король. — Не пора ли закрывать Нельские ворота и зажигать костер?

— Все придет в свое время, если господин Сирано де Бержерак не опомнится и не опоздает.

— Вы допускаете, что он может струсить?

— Это его единственный путь к спасению, но ведущий, увы, в Бастилию за стократное нарушение вашего запрета на дуэли, ваше величество.

— Неужели стократного? Ну и молодец! — не удержался король от возгласа. — Кстати, не ваши ли это монахи выстроились чуть ли не солдатским строем перед сваленными дровами и хворостом?

— У каждого из них к груди прижато по два—три тома сочинений Декарта.

— Полит ли хворост маслом? — осведомился король.

— Уже зажгли факелы, ваше величество.

— Кажется, я прозевал фигуру, — рассердился король. — Вы заговорили меня. Впрочем, не Сирано ли это появился между костром и толпой монахов? Вооруженный против безоружных! Где ж тут равенство сил?

— Но за монахами вы можете увидеть толпу истинных католиков. У них найдется чем сломать даже лучшую шпагу.

— Надеюсь, и шею еретика?

— Да, — задумчиво заметил кардинал, — его действия можно расценить и как еретические, направленные против буллы папы.

Монахи меж тем подошли к просмоленным поленьям и предусмотрительно политому маслом хворосту и подожгли костер.

Пламя взвилось к небу, вызвав вопль восторга у всех, кто находился по обе стороны Сены.

Огонь отразился в воде и заплясал бегущими отсветами и бликами, словно на водную твердь рассыпали воз бриллиантов.

Осветились мрачные контуры Нельской башни с запертыми на ночь воротами.

— Какая прелесть! — воскликнула графиня де Велье. — Маркиз, вы заслуживаете награды!

— Зрелище еще впереди, — пообещал маркиз.

И тогда между столпившимися монахами и костром возникла одинокая фигура стройного, совсем еще молодого человека.

Не обнажая шпаги, он крикнул так, что его было слышно не только на обоих берегах Сены, но и во дворце:

— Всякий, кто приблизится к костру, чтобы бросить в него книги Декарта, сам окажется в костре. Это говорю я, Сирано де Бержерак. Берегитесь!

Замешательство среди монахов было недолгим.

Первый из них, творя крестное знамение и шепча молитвы, приблизился к костру, неся книгу в вытянутой руке.

Никто не мог дать себе отчета, каким образом он вдруг взмахнул своей сутаной и полетел в трескучее пламя костра.

Раздался пороссячий визг, и через мгновение живой факел ринулся от костра к группе монахов.

— Какая прелесть! — снова воскликнула графиня с родинкой. — Ведь он, наверное, обжегся, бедненький?

— Кто следующий? — крикнул Сирано.

— Вы заметили, ваше преосвященство, он не обнажает шпаги?

— Пока, пока, ваше величество. Я послал туда стражников.

— Тогда другое дело! — И король шмыгнул носом.

Меж тем группа монахов как по команде пришла в движение. Однако нельзя даже передать быстроту происходящего. Руки Сирано от неповторимых по молниености движений, да и сам он, мечущийся исчезающим призраком, может быть, из-за капризов освещения, становились порой невидимыми, но сутаны, задранные ноги дерзнувших приблизиться к костру монахов мелькали в воздухе, а горящие факелы, вырывающиеся из костра, отчетливо были видны.

В отсветах пламени виднелись разбросанные по земле книги в кожаных переплетах.

— Несчастные монахи, — заметил король.

— Они страдают за веру, — ответил кардинал.

Тогда на Сирано двинулась толпа, наспех набранная монахами по трактирам.

Сирано так и не обнажил шпаги. Но, если бы индеец Августин мог видеть, как он расправлялся с полупьяными погромщиками, привыкшими к тому, чтобы их боялись и понятия не имевшими о тех невероятных приемах сынов Солнца, которые, стоя спиной к костру, пустил в ход Сирано, угощая каждого, кто приближался к нему, ударами в самые болевые места!

Через короткое время земля была усеяна корчащимися людьми, и берег Сены огласился криками и стонами. Пьянчужки продолжали лезть на Сирано и, отбрасываемые его ударами, падали на уже лежавших.

А над поверженными в позе ягуара, готового к прыжку, стоял ученик индейца из племени майя, готовый отразить любое нападение.

Но теперь в дело вступили стражники со шпагами в руках.

Пришлось и Сирано выхватить шпагу.

— Кажется, дело дошло до настоящего сражения, — заметил король, сопя носом.

— Они убьют его! Столько на одного! — воскликнула графиня де Велье.

Баронесса де Невильет, с задержанным дыханием следившая за всем происходящим, упала в обморок.

В обморок упали и еще две дамы из окружения королевы, но, убедившись, что никто не приходит к ним на помощь, пришли в себя и бросились снова к окну, где их места были уже заняты другими дамами.

Стражники никак не могли сблизиться с Сирано, мешали преграждавшие им путь стонущие и корчащиеся от боли тела пьянчуг.

Но Сирано сам бросился на противников, и тут пошел в дело его излюбленный прием. В воздух, сверкая в отблесках костра, полетели одна за другой шпаги стражников, которые сразу же обращались в бегство. Попытавшихся оказать ему сопротивление офицеров Сирано неуловимым движением своей разящей шпаги ранил (хотя были и убитые!), отражая с непостижимой сноровкой все направленные на него удары. Впрочем, неверно думать, что он не получил ни одной раны. Камзол его покрылся кровавыми пятнами, но он продолжал биться с противниками. Как в большинстве сражений, исход боя решила паника.

Кто-то крикнул, что сам господь вложил в руку безумца его шпагу, ибо в булле пата не сказано о сожжении книг Декарта.

Монахи стали подбирать и уносить книги, не стараясь больше их сжечь, стражники подбирали убитых и раненых.

Полупьяная толпа разбежалась, стражники удалились.

Сирано остался один, готовый отразить новую попытку штурмовать костер святого Эльма.

— Это необыкновенно, маркиз! Я думала, что умру от волнения! — вздохнула графиня с родинкой. — Но я смертельно устала, будто сама билась с этими ничтожествами. Садитесь в карету и отвезите меня домой. Граф уехал с поручением его высокопреосвященства в армию. Садитесь, пока я не передумала и не пригласила этого неистового демона, который быть может, кое в чем и вам не уступит.

— Как можно, графиня! Уж позвольте мне не допустить до вашей обворожительной родинки его клюв.

— Но все-таки вам придется привезти его ко мне на следующий же раут. Но совсем недурной поэт. Пока не ревнуйте. Я просто хочу посмотреть на него вблизи.

— Предпочел бы, чтобы вблизи вы смотрели лишь на меня. С этими словами маркиз юркнул в карету, поручив свою лошадь слуге графини.

Карета графини поехала следом за каретой баронессы де Невильет, которая после обморока наконец пришла в себя. Ришелье смешал шахматные фигуры и сказал королю:

— На этот раз, ваше величество, я проиграл не только вам.

— Но каков молодец!² — усмехнулся король. — Впрочем, и мат вы получили изящный.

Невыспавшийся кардинал, войдя в свой кабинет, увидел на столе свою закладную записку, как он того и пожелал накануне.

Ее положил туда стоявший перед ним Сирано в изорванном и покрытом пятнами камзоле.

ЗАКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Всадник на усталом, еле передвигающем ноги коне, преодолев не одну сотню миль, остановился у ватиканских ворот. Конь поник головой, готовый упасть. Всадник соскочил на землю и с любовью похлопал его по взмыленной шее.

Наемник — граубинденец с длинной шпагой на боку — направился к приехавшему с наглым угрожающим видом.

— Пакет! Его святейшеству папе! — по-французски произнес путник.

— Чего бормочешь, будто сопли нос забили! — грубо по-немецки крикнул граубинденец.

Приехавший незнаком был с этим языком, а страж, видимо, хоть и знал французский, как все швейцарцы, не желал на нем говорить.

— Немедленно пропусти меня к его святейшеству, я — гонец самого его высокопреосвященства кардинала Ришелье.

— А что мне твой Ришелье? — заявил страж, протягивая руку для приема обычного подношения, пусть и не слишком тяжелого кошелька, но приезжий или не понимал этого, или не желал понять.

Запыленный, усталый с дороги, он не хотел терять времени и, считая, что упоминание кардинала Ришелье служит достаточным аргументом, отодвинул стража в сторону, чтобы пройти в ворота в ватиканской стене,

² Сражение Сирано де Бержерака со ста противниками всегда казалось автору невероятным и выглядело легендой. Но ознакомление с подлинными документами той и последующих эпох вынудило автора отнестись к этому событию как к подлинному. Расхождение между свидетельством Ростана в XIX веке и Лебре, современника Сирано, было лишь в числе убитых и раненных в этой небывалой битве. Ростан утверждал, что убитых было 8, а раненных 17, Лебре же говорил лишь об одном убитом, числа раненных не называя. (Примеч. авт.).

но страж вздыбил усы, оскалил желтые зубы, прокричал немецкое ругательство и обнажил шпагу.

Происшедшее затем надолго запомнилось граубинденцу. Шпага его неведомо как вылетела из руки и взвилась к небу, потом со звоном ударилась о камень дороги.

Испуганный страж, уверенный, что сейчас его убьет проклятый француз, бросился бежать, взывая о помощи.

К нему уже спешили два граубинденца, на ходу выхватывая шпаги.

Приехавший тем же непостижимым приемом выбил одну за другой шпаги у поочередно вступивших с ним в бой стражников, но не ранил ни одного из них. Теперь к нему с алебардами наперевес бежали еще несколько наемников.

Но властный голос остановил их.

К приехавшему направился офицер-швейцарец, командовавший охраной ватиканского дворца.

Он видел необычайное искусство гонца и, имея на это свои виды, почтительно приветствовал его:

— Прошу извинения, синьор, за доставленное вам беспокойство моими солдатами, но, надо учесть, что именно за это им выплачивают жалованье из ватиканской казны. Так о чем вы не смогли договориться с моими молодцами, заставив теперь меня наложить на них серьезные взыскания? Денежные, конечно, ибо все мы работаем за деньги, и они служат нам и средством существования, и дисциплинарного воздействия. Каин смысл сажать их на гауптвахту и бесплатно кормить! Не лучше ли за неумение фехтовать оштрафовать? Не так ли, синьор?

Офицер говорил на французском языке со швейцарским акцентом, вставляя некоторые итальянские слова.

Приехавший сообщил, что привез срочное послание святейшему папе от кардинала Ришелье.

— Из Франции? И вы проделали такой путь на этом бедняге коне?

— Увы, я не мог менять лошадей, как это делают обычные гонцы. У меня поручение личное.

— Мы договоримся с вами об этом, синьор. Я проведу вас в папские хоромы, при одном условии, однако, если вы обучите меня своему превосходному приему обезоруживания противника.

— Охотно, приятель! — согласился приехавший. — Где мы можем заняться уроком фехтования?

— Во дворе за крепостной стеной, синьор, если это вас не слишком затруднит.

— Лишь бы не затратить на это излишне много времени, господин офицер.

— Я постараюсь быть прилежным учеником.

Стражи-граубинденцы изумленно смотрели, как их офицер провел приехавшего, который, безусловно, не передал ему кошелька с монетами, они за этим следили, чтобы не прозевать своей доли. Оба прошли через приоткрытые для них ворота и сразу же обнажили шпаги.

Граубинденцы, свободные от караула, сбежались посмотреть, что это будет за дуэль.

Но дуэли, оказывается, не предполагалось.

Офицер был обезоружен при первом же скрещении шпаг.

Затем началось скрупулезное обучение приему. Офицер прикрикнул на своих подчиненных, чтобы они, несмотря на святое место, убирались ко всем чертям. Он не собирался приобщать их к секрету, которым хотел овладеть.

Офицер оказался смышленным. Впрочем, выбить оружие из железной руки своего учителя он все же не смог, но, подозвав к себе одного из своих солдат, разоружил его, едва тот выхватил по его приказу шпагу.

Учитель похвалил своего ученика и дал ему еще несколько советов, после чего они вдвоем поднялись в ватиканский дворец.

— Меня зовут Вильгельм Берnard, я пока служу его святейшеству, чтобы войти в наследство Буду владеть заемной конторой. Если вам понадобится займы некоторая сумма, буду к вашим услугам.

— Я благодарю вас, господин лейтенант. Я слишком беден, чтобы отдавать долги, и слишком горд, чтобы брать займы без отдачи.

— Как? Разве кардинал Ришелье мало платит вам?

— Он ничего не платит мне, дорогой Берnard, хотя я и выполняю его поручение как гвардеец роты гасконцев, куда обязан явиться после выполнения поручения кардинала. И солдатского жалованья пока не получал... Где же я смогу вручить святейшему папе Урбану Восьмому послание его высокопреосвященства кардинала Ришелье?

— Кардинал Ришелье высок у вас во Франции. Святой престол по высоте своей недостижим, дорогой гвардеец. Я проведу вас тоже к его высокопреосвященству, такому же, как и ваш Ришелье, монсеньору кардиналу Антонио Спадавелли, состоящему при особе святейшего папы.

— Но я должен передать послание в руки самого папы.

— Надеюсь, вас не снабдили посланием к самому господу богу? Верьте, я знаю, что делаю, ведя вас к монсеньору Спадавелли.

Комната, в которую ввел офицер приезжего, казалась тесной по сравнению с пройденными ими богатыми залами и отличалась скромным убранством.

— Монсеньор, — обратился к сгорбленному старику швейцарец. — К вам прибыл с письмом к его святейшеству гонец от кардинала Ришелье.

— Ришелье? Вот как? — удивился кардинал. — Давайте. Как вас зовут, гонец?

— Сирано де Бержерак, ваше высокопреосвященство. Но послание я обязан передать из рук в руки его святейшеству.

— Вы внушаете мне уважение и доверие, господин Сирано де Бержерак. Хотел бы, чтобы вы ответили мне тем же. Послание кардинала Ришелье будет доведено до сведения его святейшества немедленно.

— Я верю вам, ваше высокопреосвященство, — на прекрасной латыни произнес Сирано, передавая пакет.

Кардинал Спадавелли вскрыл его, пробежал глазами и не мог подавить своего волнения.

— Прошу простить меня, сын мой, — обратился тоже на латыни кардинал к Сирано, — но содержание этого письма настолько касается и меня лично, что я не могу не выразить вам особой благодарности. Однако я опасаюсь за вашу безопасность. Увы, но в Папской области слишком много испанских войск, а ваша Франция вступила в войну на стороне государств, противостоящих Испании и Габсбургам.

— Любому, кто заинтересуется мной из числа испанских солдат или офицеров, придется посчитаться с моей шпагой! — запальчиво воскликнул Сирано.

— Нет, сын мой, — перешел на французский язык кардинал. — Для вашей же безопасности я попрошу вас передать свою шпагу вот этому славному офицеру, которому я поручу препроводить вас, как задержанного папской охраной, до дома французского посланника господина Ноаля. Ждите меня там. Вам понятна ваша задача, господин лейтенант Бернард?

— Совершенно ясна, монсеньор! — отозвался швейцарец. — Я бережно доставлю в сопровождении моих солдат гонца кардинала Ришелье до резиденции французского посланника. Ни один испанец не заинтересуется, что мы делаем.

— Поверьте, ваше высокопреосвященство, — снова перешел на латынь Сирано, — это совершенно непохоже на меня, но я вверяюсь вам.

— Это не останется безответным, — произнес кардинал, жестом руки отпуская обоих.

— Давайте вашу шпагу, дорогой де Бержерак. Пусть она будет залогом нашей дружбы, — предложил лейтенант Бернард.

Сирано без всякой охоты отдал шпагу вместе с перевязью своему новому знакомому и ученику, который лет на десять был старше его.

Уже через несколько минут оба они ехали рядом на лошадях, сопровождаемые эскортом ватиканских стражников в двухцветной форме.

— Знаете, де Бержерак, я решил не служить больше в наемниках по двум причинам.

— Буду рад узнать, — отозвался Сирано.

— Наследство, о котором я говорил, и сонет, написанный каким-то узником и доставленный мне тюремным стражем из нашего кантона. Я вам прочту его. Называется: «Швейцарцам и граубинденцам».

*Не только Альпы вознесли вас в небо,
Раз вольность там людьми обретена.
Зачем нужна чужая им война,
Коль в той стране никто из них и не был?*

*Тиран заплатит, хоть народ без хлеба,
За кровь вам — золото, а честь бедна.
Копнешься в совести — она черна.
Молю, чтоб торг собой отвергли все бы!*

*Не лучше ли добившимся свобод
Освободиться дома от господ?
Мальтийский крест не ждет их на чужбине.*

*Свергайте же паучий тяжкий гнет
Всех, кто труд ваш жадно продает,
В пороках, в роскоши погряз, как в тине.*

— Что за узник?

— Не то Канапелли, не то Кампанелла.

Сирано невольно пришпорил коня, и тот, забыв про усталость, взбрыкнул.

— Что это с ним? Или отдохнул? За такие сонеты монаха упрятали бы в темницу, да он уже в ней находится пожизненно. Вот он и пишет сонеты, взывая к нашей совести, а она, поверьте, у нас есть. Меня, во всяком случае, он разбередил. К тому же он составляет гороскопы. У меня растет сын, и я просил раз своего земляка составить на Анри гороскоп. И, оказывается, сын мой пойдет по военной части, станет генералом и погибнет со славой в бою.

— Я бы не стал заказывать свой гороскоп, — заметил Сирано, — уверен, он не осветил бы моего будущего. Я вольнодумец даже в суеверии.

Вместе с новым приятелем он благополучно доехал до дома французского посланника в Риме, господина Ноалья, получил обратно свою шпагу, заверения в дружбе, благодарность за обучение фехтованию и вошел в дом.

Посланник Ноаль, тонкий дипломат, видом своим напоминал маркиза с фарфоровой вазы королевского дворца, в парике и кружевах с утонченным изяществом манер. Едва узнав, что гость — гонец самого кардинала

Ришелье, он стал рассыпаться перед ним в любезностях, предложив откушать и отдохнуть с дороги.

И вновь из тяжелых ворот выехала кардинальская карета на огромных колесах, и снова толпа верующих выстроилась по обочинам дороги, жадно подбирая звонкие символы кардинальской щедрости.

И, как незадолго до того, карета снова свернула с моста и поехала вдоль Тибра, достигнув тюремных стен.

Всадник не был послан вперед, потому у ворот получилась заминка, пока сам суетливый и подбострастный начальник тюрьмы синьор Парца не выбежал навстречу, не зная, как выразить свое почтение к приближенному святейшего папы Урбана VIII.

Тюремные ворота открылись, карета въехала во двор, распахнулась ее дверца, спущена была подножка, и престарелый кардинал сошел на камни тюремного двора. Опоздавший тюремный священник, невзирая на годы, бежал навстречу монсеньору, а тот, опираясь на посох, в сопровождении полусогнутого а поклоняющегося синьора Парца шел уже знакомой дорогой к камере пожизненного узника.

Загрели ключи, открылась дверь.

Ошеломленный синьор Парца с врученной ему бумагой папского двора в руке поспешно удалился, а кардинал вошел в полутемный каземат.

Томмазо радостно поднялся, узнав учителя.

— Ваш гороскоп готов, — сказал он после приветствия.

— Пока не нужен гороскоп. Вот здесь адресованное кардиналу Ришелье письмо от папы, святейшего из пап. Ты свободен, мой Джованни!

Ошеломленный Кампанелла смотрел на Спадавелли, не веря ушам.

— Ты отвезешь письмо от папы в Париж.

— О боже! — воскликнул вечный узник. — Так вот каков тот Ришелье, о котором так несправедливо болтают! — Он встал на колени и поцеловал письмо в руке кардинала. — Благословенны будут имя папы и кардинала Ришелье, — растроганно произнес он.

— Вставай, Томмазо. Я отвезу тебя к посланнику Франции Ноалю. Там ждет тебя гонец из Франции.

— Тогда зачем же ехать во Францию мне самому, учитель? Уж если не Неаполь, не Калабрия родная, то хоть Венеция! Позвольте!

— Молчи, сын мой! Ты ничего не знаешь. Папа даровал тебе свободу, но Папская область наводнена испанцами, и я не знаю, понравится ли им твое освобождение. Собирайся.

— Багаж мой прост, одни бумаги. Быть может, удастся на свободе издать собрание сочинений.

Карета кардинала выехала из тюремных ворот и направилась через Вечный город к дому французского посланника.

Вчерашний узник не мог сдержаться. Он почти наполовину высунулся из окна кареты и наслаждался впервые почти за тридцать лет видом домов, прохожих, синим небом, ярким солнцем! Сердце его, вынесшее в неволе такие испытания, сейчас готово было разорваться от счастья! Он свободен, он, подобно всем людям, может жить, дышать, творить для них!

При виде кардинальского экипажа верующие выстраивались по обе стороны улицы, и кардинал Антонио Спадавелли, верный своим традициям, выбрасывал в толпу пригоршни монет.

Кампанелла поморщился, заметив, как борются истовые католики из-за кардинальской милостыни.

— А все-таки, учитель, — сказал он, — подлинное счастье людей будет не в деньгах, а в отмене их.

— Твой предшественник Томас Мор остроумно назвал свою вымышленную страну Утопией, что в переводе, как ты знаешь, означает Нигдея. Он сам как бы предвещал, что нигде на земле не осуществиться ни его, ни твоим мечтам.

— Как знать, учитель. Христианство при тиранах казалось тоже невозможным.

— Не будем спорить, сын мой, насладимся счастьем твоего освобождения.

— Благодарение богу, светлейшему папе Урбану Восьмому и кардиналу Ришелье. И вам, учитель. Без вас не сделать мне и шага за пределами тюремных стен.

— Ну почему!..

— Хотя бы потому, что я отвык ходить под синим небом.

Карета остановилась. Кардинал и Кампанелла вышли из нее. Их встречал, помогая обоим выйти, французский посланник господин Ноаль в парике, в камзоле и панталонах с кружевами, в туфлях на высоких каблуках, с красивыми бантами.

— О, ваше высокопреосвященство господин кардинал, как мне благодарить за высшую честь, которая оказана мне вашим посещением!

— Цель моего посещения, синьор, передать вам из рук в руки бесценного философа, прошедшего все бездны ада, Томмазо Кампанеллу.

— Прошу войти в мой дом, он будет освящен пребыванием в нем таких людей.

— У вас ли гонец кардинала?

— Он здесь, монсеньор, поел, спать лечь не захотел, но за столом уснул.

— Представьте нам его.

При виде Кампанеллы и кардинала Сирано бросился на колени.

— Встань, сын мой, — сказал кардинал.

— Нет, ваше высокопреосвященство, я на коленях перед тем, кто воплощает для меня и тьму темниц, и Солнца свет.

Кампанелла ласково положил ему руку на плечо.

— Я не хотел бы принять эти поэтические слова на свой счет, юноша. Для меня вы не только посланник, но и избранник высокого и далекого друга, которого я так ошибочно корил, монсеньора Ришелье.

— Вот, отец мой, его записка. Я должен проводить вас к нему во Францию.

Кампанелла, отлично владея и французским языком, дважды перечитал эту «закладную записку».

Потом передал ее кардиналу Спадавелли, который тоже с интересом познакомился с ней.

— Вот видишь, Томмазо, сам Ришелье ждет тебя, назначив сопровождающим этого славного гвардейца.

— Я, право, не пойму, учитель. Ведь я недавно снова провинился, встав на защиту Галилея...

— Итак, молодой человек, вручаю вам, как пожелал того сам Ришелье, заботу о Томмазо Кампанелле. Я вынужден покинуть вас.

— Надеюсь, все устроится, монсеньор, — сказал Ноаль. — Мой дом, как дом посланника, неприкосновенен.

— Мой юный друг, — обратился Кампанелла к Сирано, — я хотел бы вас поздравить с доверием, оказанным вам Ришелье, его забота о моей судьбе несказанно меня волнует.

Сирано де Бержерак не сказал, что записка Ришелье была «закладной», продиктованной им, и право воспользоваться ею было отвоено в бою со ста противниками. Он лишь почтительно смотрел на Кампанеллу, который был для него живой легендой.

ДВА ГРОБА

Синьор Бенито Парца, начальник тюрьмы, едва из ее ворот выехала карета кардинала с «вечным узником», засеменил через улицу к стоявшему неподалеку каменному дому с колоннами, где разместился командир испанского гарнизона в Вечном городе Педро Гарсиа, недавно смещенный испанским королем с поста губернатора Новой Испании, впавший в немилость из-за неспособности выкачивать из колонии прежних потоков золота. Пониженный в должности и уязвленный этим, генерал Гарсиа готов был выместить свое настроение на местных жителях, которые в его глазах ничем не были лучше заокеанских индейцев, хоть и выглядели

белолицыми и считались католиками. К испанским войскам, во всяком случае, они должного почтения, как и индейцы, не проявляли.

Бенито Парца так настойчиво добивался свидания с генералом, что обозлил дежурного офицера, каковым оказался капитан Лопес. Раздраженный подобострастным италяшкой, Лопес все же понял, что речь идет об антииспанском заговоре, и допустил доносчика к генералу. Тучный генерал Гарсиа готовился обедать и скорчил недовольную гримасу на своем оплывшем лице, услышав, что ему предстоит заняться делами на голодный желудок. Желая поскорее отделаться от итальянца, он приказал ввести его.

— О, синьор генерал! Да продлятся ваши дни, как и дни его величества короля Испании, самого католического из всех королей! — заискивающе начал Парца.

— Дальше, дальше! — не отвечая на приветствие, буркнул генерал, плохо разобравшись в испанской речи Парцы.

Капитан Лопес, долго живший в Генуе, взялся переводить невнятную болтовню начальника тюрьмы.

Оказывается, в его тюрьме под видом посещения «вечного узника», монаха Кампанеллы, еще тридцать лет назад готовившего восстание против испанской короны и приговоренного к пожизненному заключению, собирались заговорщики. Они вовлекли в свой заговор даже монсеньора Спадавелли, приближенного к самому папе. И этот кардинал умудрился обманом выцарапать у доверчивого святейшего отца всей католической церкви помилование закоренелому заговорщику, который вместе с коварным монсеньором Спадавелли покинул теперь тюрьму, чтобы поднять восстание в Папской области против испанцев.

Генерал Педро Гарсиа отличался вспыльчивостью. Сообщение Бенито Парцы вывело его из себя.

— Капитан Лопес! — хрипло скомандовал он. — Узнай, куда монсеньор кардинал запрятал преступника, обманувши самого папу. Наш долг — оказать святейшему папе услугу и тотчас пресечь все подлые замыслы заговорщиков.

— Они собирались у него в камере, синьор генерал, под видом составления запрещенных святой церковью гороскопов. Это близко к колдовству, а за него, как известно, карают не тюрьмой, а костром, синьор генерал.

— Пусть перестанет болтать! — крикнул генерал Лопесу. — Вели ему сказать, куда спрятали монаха.

— Мне удалось подслушать, как кардинал приказал кучеру ехать к французскому посланнику.

— Ага! — воскликнул генерал, так надуваясь от ярости, что мундир затрещал на животе. — Запрятать негодяя, исконного врага Испании,

которая ведет с Францией войну! Капитан Лопес, приказываю взять солдат не только со шпагами, но и с мушкетами и без лишних разговоров ворваться в дом, где засел преступник. Действовать как в Мексике. Ты понял?

— Понял все, мой генерал!

Гарсиа, поморщившись, бросил Парце кошелек, из которого переложил в карман половину монет. Начальник тюрьмы, низко кланяясь и пятась, стал удаляться, бормоча благодарность от имени всех своих тринадцати детей.

Генерал сел обедать, повязал салфетку, но аппетит пропал от одной только мысли, что надо сообщить святейшему папе о принятых мерах, упомянув притом имя кардинала Спадавелли. Но как это сделать, он решить не мог, ибо не привык в Новой Испании к дипломатическим уверткам, действуя лишь по своему усмотрению. Но вдруг, осененный спасительной мыслью, он крикнул:

— Эй, Лопес! Ты не ушел? На случай, если придется извиняться перед папой, учти, что монах не должен быть «схвачен».

— Как? — удивился заглянувший вновь к генералу Лопес.

— Ты вконец оглупел! Как расправлялся ты со жрецами?

— Понял все, — поклонился Лопес, помахав перед собой шляпой с пером, и вышел.

Конный отряд испанцев под командованием капитана Лопеса в составе десяти человек промчался по улицам Рима, разгоня испуганных прохожих.

У дома французского посланника отряд спешился.

Лопес размещал солдат группами. Увидев заросли кустарника напротив дома, он приказал там засесть двоим солдатам с мушкетами и взять на прицел дверь и окна, если противник попытается спастись бегством.

Сам Лопес, в шляпе со свисающими полями, которые защищали его от тропического солнца в Америке, с цветастым пером птицы кетсаль из сельвы, решительно взошел на крыльцо и постучал в дверь ногой, встав к ней спиной.

Он не успел среагировать на мгновенно открытые створки и не увернулся от весьма чувствительного пинка ниже спины.

Капитан невольно пробежал, теряя равновесие, несколько шагов, пересчитав ступеньки крыльца, и растянулся в пыли под громкий хохот не только вышедшего на крыльцо человека, но и своих собственных солдат.

Вне себя от ярости капитан вскочил на ноги, обнажил шпагу и бросился к обидчику, который тоже с обнаженной шпагой стоял в проеме открытой двери.

— Прочь с дороги! — заорал Лопес. — Именем испанского короля я требую выдачи преступного монаха Кампанеллы.

— Эта территория, синьор испанец, по международным законам принадлежит не испанскому, а французскому королю, именем которого я предлагаю вам убраться отсюда к дьяволу.

— Мне плевать на твои международные законы. По велению моего короля я и мои солдаты войдем в дом, кому бы он ни принадлежал, и выволочем оттуда заговорщика.

— Вам придется убедиться в своей неспособности пройти мимо меня, сеньор! — на приличном испанском языке заметил незнакомец.

— Кто ты такой, — заорал Лопес, — чтобы вставать у меня на дороге?

— Тот самый камень, о который вы споткнетесь, сеньор.

Сзади защитника дома показался французский посланник.

— Сеньоры! — воскликнул он тоже по-испански. — Умоляю вас не прибегать к силе оружия. Все мы одинаково чтим власть святейшего папы Урбана Восьмого, и я честью дворянина заверяю вас, что в моем доме нет никого, появившегося там помимо воли святейшего папы

— А я тебе покажу, где ожидают тебя и твой папа, и твоя мама, которые наверняка уже сдохли! — закричал Лопес, одновременно давая сигнал солдатам штурмовать дверь.

Сам он ринулся на защитника дома впереди всех и остановился, не понимая, что произошло. Он стоял перед довольно молодым французом, в руке Лопеса не было шпаги, которой только что собирался проткнуть наглеца.

Лопес непроизвольно отскочил в сторону, давая солдатам дорогу к противнику.



Но противник сам перешел в атаку и уже не применял своего излюбленного приема, с которого когда-то начал в Париже блистательную карьеру дуэлянта.

Первого же солдата молниеносным, неуловимым движением он сразил ударом в грудь, и тот со стоном повалился к его ногам. Второй солдат был также поражен ударом шпаги, получив тяжелое ранение. Третий упал рядом.

Четвертый, пятый, шестой полегли следом за ними.

Лопес меж тем подобрал свою шпагу, но не решался ринуться в бой. Он оглянулся на кусты и дал сигнал.

Раздались почти одновременно два выстрела, и стоявший на крыльце Сирано де Бержерак, пронзенный, повалился назад на французского посланника.

— Вперед! За монахом! — крикнул Лопес и ринулся в дом, оттолкнув изящного французского посланника.

Капрал Карраско ворвался в дверь следом за капитаном.

По улице вскачь неслись запряженные цугом кони, карета, громящая огромными колесами, подпрыгивала на камнях.

Трудно было поверить, что столь старый кардинал может распахнуть дверцу, на ходу выскочить из кареты и, держа крест в поднятой руке, взбежать на крыльцо.

— Именем господа бога заклинаю от имени святейшего папы Урбана Восьмого прекратить насилие!

Как ни был Лопес воспитан в духе силы, жестокости и произвола, но вид старца с поднятым крестом, в развевающейся алой мантии остановил его.

Он крикнул, чтобы капрал вернулся.

— Монсеньор! Мы только защищались. Видите — шесть убитых. Мы лишь воздали должное убийце, — говорил Лопес, кланяясь кардиналу.

Смущенный капрал вышел из дома и, прежде чем вложить шпагу в ножны, вытер ее о край камзола.

Капитан переглянулся с ним.

Сидевшие в засаде солдаты с мушкетами вышли, не успев перезарядить ружья. Они за ноги стащили к коням убитых, хотя двое подавали признаки жизни, и перебросили их через седла лошадей.

Капрал Карраско подвел капитану его коня. Лопес скомандовал:

— Дело сделано, — скачем к генералу Гарсиа.

— Вашему генералу придется явиться на аудиенцию к святейшему папе Урбану Восьмому, которую он назначает ему завтра в восемь часов утра, сеньор капитан! — тоном приказа произнес кардинал. Лопес поклонился, хотя с большим удовольствием пронзил бы и этого дряхлого жреца своей доброй шпагой, но кто знает, чем это может обернуться. Здесь все-таки не славная Америка, где знаешь, как надо себя вести.

Солдаты повезли павших на поле боя, а капитан Лопес помчался к тюрьме, напротив которой квартировал генерал Педро Гарсиа, не предвидя с его стороны особых похвал, хотя собирался доложить ему, что «дело сделано», с монахом покончено. По крайней мере, он так понял своего побывавшего в доме капрала Карраско.

Когда Лопес докладывал генералу о сражении, то единственный защитник дома у него превратился в засевший там отряд отборных французских солдат, которых удалось одолеть благодаря его военной хитрости, связанной с засадой и применением мушкетов, взять которые мудро приказал генерал.

— Все-таки пуля, мой генерал, сильнее шпаги, — закончил он свой доклад, в котором упомянул, что все защитники дома, а также заговорщик-монах, бежавший из тюрьмы, уничтожены.

Появление кардинала он изобразил как злой рок, помешавший ему из боязни за его превосходительство генерала Педро Гарсиа должным образом отметить победу.

На следующее утро в восемь часов страдающему одышкой генералу Гарсиа пришлось подняться по лестнице ватиканского дворца и, сдерживая тяжелое дыхание, выслушать стоя наставительные упреки святейшего папы Урбана VIII, на аудиенцию у которого он в других условиях и не смел рассчитывать.

Вернувшись от папы, генерал Гарсиа слег, он был почти уверен, что ватиканский гонец уже скачет в Испанию с посланием папы к королю.

И был прав. Гонец в двухцветной форме скакал, меняя лошадей, чтобы не морским, а сухопутным путем, через Апеннины, добраться до Испании.

Пока скакал гонец, в Риме по его улицам двигалась печальная процессия.

Ее возглавлял сам кардинал Спадавелли, правда, почему-то не в полном облачении, подобающем такому случаю, и не пешком, а в карете, за которой двигались профессиональные плакальщицы, оглашая улицы Вечного города отработанными рыданиями, затем граубинденцы во главе с лейтенантом Вильгельмом Бернардом несли два гроба. Процессию замыкали ехавшие в карете французский посланник Ноаль в самой парадной форме с черной повязкой на рукаве камзола, отороченной черными кружевами, и его друг писатель Ноде, роль которого в двигающейся по улицам Рима процессии была отнюдь не последней.

Похоронная, как могло со стороны показаться, процессия направлялась не на кладбище, а вышла на Аппиеву дорогу. Миновав старинные мраморные виллы перед пересечением с другой дорогой, процессия остановилась. Плакальщицы были отпущены, карета кардинала, выполнившая свой долг, заставляя встречных испанских солдат сторониться, вернулась назад к Ватикану, а граубинденцы вместе со своим лейтенантом, сопровождаемые каретой французского посланника, свернули на запад к Тибру. Дальше странная процессия двигалась вдоль его берега до самого устья, где еще задолго до порта остановилась перед невзрачной египетской фелюгой.

Здесь господин Ноде, очевидно, уже знавший владельца фелюги, старого египтянина, командовавшего двумя темнокожими матросами, возможно, продолжавшими считать себя его невольниками, вступил с египтянином в громкий, переходящий в крик разговор, который больше всего напоминал торг. Речь шла о том, чтобы доставить два гроба о усопшими в сопровождении господина Ноде в Тулон.

К первоначально назначенной сумме в тысячу пистолей египтянин просил надбавки «за запах», который будет исходить от гробов во время пути.

Ноде, весело поблескивая озорными глазами, склонный к шуткам, несмотря на взятую на себя печальную обязанность, договорился с

египтянином, что надбавит к назначенной сумме еще столько же, если аллах подскажет тому то же, что и его обоняние.

Гробы были водружены на фелюгу, господин Ноде перешел на борт суденышка, негры-матросы поставили паруса, а посланник Франции в Папской области господин Ноаль еще долго стоял на берегу Тибра, почти у самого его устья, наблюдая, как становятся все меньше и меньше косой и четырехугольный паруса фелюги.

Лейтенант Вильгельм Берnard с непроницаемым лицом ждал, когда господин посланник перестанет махать кружевным платком и сядет в карету, чтобы с отрядом граубинденцев проводить его обратно в Рим во избежание новых столкновений с недружелюбными Франции испанцами.

БОГ «ТОТ», ПОКРОВИТЕЛЬ НАУК

Берег Италии скрывался за горизонтом, когда хозяин фелюги, правоверный египтянин, почтительно приблизился к сопровождавшему печальный груз французу Жозефу Ноде.

Писатель Ноде, страдая морской болезнью, не столько любовался красотами моря, сколько с тревогой смотрел на тучи, нависшие над берущими с бычьей яростью седогривыми холмами.

Хозяин суденышка на недурном французском языке с поклоном обратился к нему:

— Да продлит аллах благословенную жизнь почтенного господина, и да увеличит он его щедрость, чтобы сравнялась она с милостью, каковую по Корану надлежит проявить к несчастному моряку, изнемогающему от трех старых и сварливых жен, от требований детей, столь же наглых, сколь и неблагодарных, не считая милых просьб толпы внуков!

— Не слишком ли красочно, почтенный последователь Корана, живописуешь ты свои невзгоды?

— Я лишь решаюсь напомнить почтенному господину о нашей договоренности: сам аллах услышал не только мои мольбы, но и ощущения моего носа, вынужденного мириться с почитаемыми мною гробами, еще не преданными земле.

— В таком случае проверим тебя на запах и поднимем крышку гроба.

Несколько удивленный шкипер крикнул седого негра-матроса, свободного от вахты у руля, и вместе с ним приподнял крышку ближнего гроба.

«Покойник» в монашеской одежде открыл агатовые, пронизывающе жгучие глаза и оперся на локоть.

— Можно подняться? — спросил он.

Египтянин пал на колени, негр отскочил в сторону.

— Как ваша рана, отец Фома? — спросил Ноде.

— Царапина, синьор, сущая царапина!

— Однако вы искусно упали, отец Фома. Не только этот негодяй, хвалившийся, что был тореадором, но даже я подумал, что он сразил вас.

— На месте быка я поднял бы его на рога. Но как наш защитник?

И они перешли к другому гробу. Негр в суеверном страхе спрятался за парус. Крышку подняли без него, но из гроба никто не встал. Пришлось Ноде, монаху и шкиперу втроем поднять оттуда молодого человека без чувств и перенести его в единственную каюту.

Монах расстегнул на нем камзол.

— Сквозное ранение в грудь, большая потеря крови, несмотря на сделанную мной еще в доме посланника перевязку. Надо ее менять. Видно, недаром я писал в темнице медицинский трактат. — И Кампанелла принялся старательно ухаживать за раненым Сирано де Бержераком.

Египтянин с хитрецей заметил вышедшему из каюты Ноде:

— Аллах все видит, почтенный господин! И если мне нельзя доплатить за непослушный мой нос, которому ничего не удалось учуять, то сам аллах велит заплатить за послушный мой язык, которому есть что рассказать.

Ноде расхохотался, ибо был смешлив по натуре.

— Хорошо, я добавлю тебе пятьсот пистолей, чтобы твой язык не произнес лишнего, как твой нос не учуял необычного.

Маленькая фелюга ловко ныряла между высокими бортами стоящих на рейде каравелл, шхун, бригов, барок и гордо проплывала мимо мелких по сравнению с нею рыбачьих лодок, заполнявших подступы к набережной Тулона. Фелюга завершила наконец свое плавание, проскользнув в открытом море мимо испанских кораблей, и покойно застыла теперь, прикрепленная к медному кольцу мола просмоленным канатом.

Господин Ноде, оставив раненого на попечение монаха-лекаря и египтянина, отправился за телегой. Ему пришлось проталкиваться сквозь толпу подвыпивших после плавания моряков, хрипло предлагающих свою любовь женщин, назойливых продавцов овощей и фруктов. Он пробирался между ящиками, тюками, плетеными корзинами или сваленными в беспорядке грузами.

Добраться в нанятой им телеге до мола, где пришвартовалась фелюга, можно было лишь имея невероятный запас изощренных ругательств, которыми виртуозно владел усатый возница из бывших солдат, хлестал кнутом не только свою клячу, но и толпу, мешавшую проехать. С большими предосторожностями Сирано де Бержерак был перенесен в телегу и перевезен в трактир «Пьяный шкипер», где Кампанелла принялся лечить его.

Вскоре предприимчивый Ноде сыскал нужную карету.

Выполняя указание Ришелье, Мазарини приобрел для Кампанеллы домик, построенный на пепелище поместья Мовьер. Туда и прибыла карета путешественников из Тулона.

Сирано узнал свои родные места, и это обрадовало и взбодрило его. Он даже пытался встать и сам войти в сложенный из камней домик.

Приехавших уже ждали: философ Декарт со своим другом и противником, советником Тулузского парламента Пьером Ферма, профессор-философ Пьер Гассенди. Кардинал Ришелье решил продемонстрировать свою заботу об освобожденном узнике и позаботился пригласить в его убежище во Франции людей, ближе всего стоящих по своим взглядам к Кампанелле, который должен был оказаться здесь в кругу друзей.

Рене Декарт, приглашенный Ришелье вернуться во Францию для встречи с Кампанеллой, был в плаще, прикрывающем мундир нидерландской армии, где он служил, укрывшись от гонений католической церкви. Был он горделив, представительен, с лицом не столь красивым, сколь мужественным, полным энергии и благородства, но идущего не от знатности, которую он отвергал, а от глубокого, самобытного ума.

Его противоположностью при той же остроте ума выглядел юрист, поэт и математик Пьер Ферма, спокойный, дружелюбный, с полноватым, чисто выбритым лицом, с блуждающей улыбкой в уголках чуть насмешливых губ и еще темными волосами до плеч.

И наконец, невысокий, тихий и вежливый каноник-смутьян Пьер Гассенди, которого Сирано помнил по приватным занятиям с молодыми людьми.

Сирано, узнав, что, кроме обрадовавшего его своим присутствием Гассенди, здесь и сам Реке Декарт, книги которого он защищал от костра у Нельских ворот, и загадочный Пьер Ферма, делающий, как говорят, удивительные математические открытия, сразу почувствовал себя лучше, предвкушая беседы с такими людьми.

Жозеф Ноде, любезно улыбаясь, распрощался со всеми и укатил в Париж в той же карете, чтобы известить его высокопреосвященство господина кардинала Ришелье о прибытии сопровождаемых Ноде по поручению посланника Франции при папском дворе Ноаля лиц, имеющих на руках письмо самого святейшего папы Урбана VIII.

Сирано был помещен в отдельную комнату и не принял участия в беседе философов с Кампанеллой. Однако огорчение Сирано смягчилось появлением местного кюре, его первого учителя, в сопровождении друга детства Кола Лебре.

Они вошли к Сирано, когда тот полулежал в кресле. Лебре расплылся в добродушной, сияющей улыбке и, подойдя к давнему другу, обнял его за плечи.

— Сави, дружище! Как же я рад тебя видеть!

— Сын мой, я горжусь, что сам его высокопреосвященство кардинал Ришелье в своей мудрой милости поручил тебе сопровождать сюда вызволенного им из заключения мученика философа Фому Кампанеллу, который найдет здесь, во Франции, много расположенных к нему сердец, пробуждая в них надежду на светлое будущее людей на земле.

— Ах, кюре! Друг мой Кола! Вы здесь, и это лучше всея лекарств. Отец Фома — изумительный лекарь. Я бы совсем встал на ноги, если бы решился принять его кровь взамен моей, потерянной при предательском пулевом ранении.

— А что значит, Сави, принять его кровь? — спросил Лебре.

— Наши лекари лечат многие болезни, «отворяя кровь», выпуская дурную, но ничего не оставляя взамен. Тело должно само восполнить потерю. Отец Фома Кампанелла, перенеся тяжкие мучения, как никто другой, познал, что такое потеря крови, и, находясь в темнице, написал медицинский трактат на пример лечения самого себя, что позволило ему выжить. В нем наряду с другими способами лечения он высказал мысль, что кровь другого здорового человека с успехом восполнит потерянную кровь больного. Но применить этот свой способ, отдав мне собственную кровь, отцу Фоме не удалось, ибо я не мог принять его жертвы, поскольку он для всего мира во много раз важнее, чей я.

— Ты сурово судишь себя, сын мой, — заметил кюре. — Это и хорошо и плохо. Не всем в твои годы удалось написать пусть злую, но призывающую людей к исправлению комедию о педанте.

— Вы читали ее, отец мой? Я рад! Но ведь ее никто не издал.

— Пока мне попала она в списках. И то, что ее прилежно переписывают, говорит в ее пользу.

— А ведь отцы иезуиты подослали в театр людей, чтобы ее освистали.

— Подождите! — прервал что-то надумавший Кола Лебре. — Если тебе нужна кровь здорового человека, то здоровее меня не найдешь во всей деревне. Давай попросим отца Фому Кампанеллу «отворить» мне кровь и перелить ее, как он того хотел, в твои жилы.

— Что ты, Кола! Я и так поправлюсь.

— Да таких, как ты, в гроб кладут.

Сирано загадочно усмехнулся, но о гробах ничего не рассказал, связанный взятым с него Ноалем словом дворянина.

После первой встречи с почтившими его приезд философами Кампанелла, придя к Сирано, узнал о готовности его друга детства предоставить ему свою кровь. Превратившись в лекаря, философ вооружился острым ножом и свежими бычьими жилами, за которыми сбегал в свою лавочку Кола Лебре. С помощью кюре, который оказался прекрасным ассистентом, Кампанелла артистически проделал неизвестную

до той поры операцию. Отворив обычным способом кровь Лебре, он направил ее по бычьей жиле, как по трубке, во вскрытую вену Сирано, расположив Лебре выше его друга, чтобы кровь к нему шла самотеком. Тогда, конечно, еще не знали, что не всякую кровь можно переливать любому человеку, но кровь Лебре и Сирано, к счастью, оказалась, как ныне сказали бы, одной группы. Изрядно пополнившийся со времени наследования отцовской лавочки здоровяк Кола Лебре даже не почувствовал потери своей «избыточной», как он сам сказал, крови.

Результат сказался быстро, щеки Сирано порозовели. Кюре смотрел на Фому Кампанеллу как на волшебника.

— Я преклоняюсь перед вашим искусством, святой отец, как преклонялся перед вашим трактатом о Городе Солнца, — сказал кюре.

— Это всего лишь долг человека, друг мой, — ответил Кампанелла. — Лечение человека и лечение человечества. — После чего они вместе тактично оставили Сирано и Лебре вдвоем, дав им возможность вдоволь наговориться.

Когда кюре вернулся, они все еще вспоминали свое детство.

— Мог ли кто-нибудь из нас тогда думать, — воскликнул кюре, — что мудрый философ, указавший на зло собственности, сам будет у нас в Мовьере! Поистине господь руководит нашими поступками и сводит воедино неисповедимые пути!

— Это не совсем так, дорогой учитель, — отозвался Сирано. — В том, что Фома Кампанелла здесь, виновны прежде всего вы, кюре. Если бы вы не внушили тогда мне, мальчишке, святость его идей отрицания такого зла, как собственность, кардиналу Ришелье не пришлось бы содействовать его освобождению... — На этом он оборвал себя. Кюре так и не понял, каким образом Сирано причастен к освобождению Кампанеллы. Не понимали этого в течение столетий и историки Франции, ибо те, кто это знал, не обмолвились и словом, а кардинал Ришелье сумел повернуть приезд Кампанеллы во Францию к своей выгоде.

Меж тем новые друзья Кампанеллы решили дать ему отдохнуть после дороги. Рене Декарт и Пьер Гассенди вышли в сад и завели учтивый философский спор о сущности материи.

Гассенди во всем видел только материальную суть мира, Декарт же настаивал, что материальная основа становится человеком лишь при ее совмещении с душой, превращающей неодушевленное тело в мыслящее существо. Однако оба сходились на том, что мир воспринять можно, лишь наблюдая его с помощью реальных чувств, а не слепо представляя по канонам веры.

В доме послышался шум. На двор въехала карета. Захлопали двери. В комнату вошел Мазарини в скромной серой сутане с опущенными глазами, но решительными движениями.

— Его высокопреосвященство, — жестко заговорил он, — господин кардинал Ришелье, осведомленный о вашем прибытии, господин Сирано де Бержерак, выражает вам благодарность за выполнение его поручения и, как главнокомандующий французских войск, приказывает вам немедленно отправиться в полк, в роту гасконцев и принять участие в боевых действиях против испанцев близ Арраса. Кстати, имейте в виду, что пулевая рана получена вами в нашей действующей армии, а не в Италии, где вы, слышите ли, никогда не были.

— Монсеньор, — обратился к Мазарини Кампанелла, — я тревожусь за состояние здоровья своего пациента, которому едва ли следует садиться в седло и брать шпагу.

— У его высокопреосвященства, отец Фома, иное мнение, суть которого мной изложена. Что же касается вас и письма святейшего папы Урбана Восьмого, какое вам надлежит вручить его высокопреосвященству господину кардиналу Ришелье, то он позаботился о том, чтобы это было сделано в подобающей обстановке в Лувре, где его величество король Людовик Тринадцатый даст вам особую аудиенцию в присутствии его двора.

Сирано вскочил:

— Я готов оказаться в рядах гасконцев и посчитаться с испанцами, которым я не намерен простить пущенной в меня из-за угла пули в Вечном городе.

— Не забывайте, Бержерак, не там, а «на восточной границе Франции», — перебил Мазарини. — В боях близ Музона.

— К востоку от Франции, — повторил Сирано. — За Музоном.

— Решено! — внезапно воскликнул появившийся Лебре. — Мы едем вместе. Я вступаю в роту гасконцев вместе с тобою!

ШЛЯПА КОРОЛЯ

За день до появления Мазарини в Мовьере, едва Жозеф Ноде добрался до дворца кардинала Ришелье и был незамедлительно принят им, между ними произошел разговор.

Ришелье выслушал сообщение Ноде о том, как он выполнил поручение господина Ноаля и доставил во Францию синьора Кампанеллу и сопровождающего его тяжело раненного испанской пулей господина Сирано де Бержерака.

Когда же речь зашла о том, что Кампанелла и раненый юноша путь по Папской области до устья Тибра проделали в гробах, крышки с которых сняли лишь в открытом море, кардинал Ришелье нахмурился, встал из-за

стола, сбросив привычно примостившегося у него на коленях кота, и стал расхаживать по кабинету так, что полы его повседневной сутаны с алой подкладкой стали развеиваться.

— Весьма скверные новости привезли вы мне из Италии, господин Ноде, — сказал он, выслушав доклад. — В ваших книгах, которые мне привелось читать, все устраивалось много лучше, чем получилось у вас на деле.

— Но, ваше высокопреосвященство, — забормотал смущенный Ноде, — оба беглеца благополучно прибыли во Францию, и синьор Кампанелла привез с собой письмо святейшего папы Урбана Восьмого, адресованное вам лично. Синьор Кампанелла обязан вам вручить письмо сам, как повелел папа.

— Прискорбно, что я не имею на руках этого письма, — опять недовольно заметил Ришелье. — Однако цепь логических построений позволяет мне прочесть его на расстоянии.

— Ваше высокопреосвященство! Такое деяние доступно лишь вашему высокому уму.

— Какой же вы писатель, господин Ноде, если не сможете представить себе, что МОГ написать святейший папа, направляя мне письмо с освобожденным узником после его тридцатилетнего заключения?

— Увы, ваше высокопреосвященство, я должен признаться, что моего воображения недостаточно.

— Здесь требуется отнюдь не воображение, почтенный Ноде. Во всяком случае, я благодарю вас за выполнение поручения нашего посланника в Папской области господина Ноаля, который получит повышение.

— Слушаю, ваше высокопреосвященство, — поклонился Мазарини.

— А вас, господин Ноде, я тоже хочу наградить направлением в качестве советника к губернатору Новой Франции.

Ноде поник головой. Ему придется пересечь океан, отправляясь на край света, именуемый Новой Францией, претерпеть в пути все ужасы морской болезни и, увы, не скоро вернуться к домашнему уюту. Словом, будучи в достаточной мере проникательным, он представил себя рядом с египетским владельцем фелюги, который получил дополнительно 500 пистолей за молчание, а он, Ноде, — горькую милость всесильного кардинала.

И бедный Жозеф Ноде рассыпался в благодарностях за полученное новое поручение, которое проклинал в душе.

Отнюдь не лишенный писательского воображения, как упрекнул его Ришелье, он догадался, что кардинала, видимо, устроило бы не благополучное возвращение во Францию Сирано де Бержерака в сопровождении Кампанеллы, а их гибель в пути...

Ришелье, отпустив незадачливого писателя, призвал Мазарини и срочно направил его в Мовьер для уже известного нам поручения, а сам приказал подать себе карету для поездки в Лувр к королю, чтобы застать его там раньше, чем тот отправится на охоту с ловчими птицами.

Король не слишком обрадовался непредвиденному появлению кардинала, он вышел к нему в охотничьем костюме с недовольной физиономией, вытянув вперед шею.

— Рад вас видеть, кардинал, — сказал он. — Надеюсь, у вас хорошие новости, а не надоевшие мне жалобы на моих мушкетеров, умеющих держать шпаги в руках. Или вы в чем-то сомневаетесь?

— Я никогда не сомневаюсь, имея дела с вами, ваше величество, — низко поклонился Ришелье.

Такие слова и тон кардинала польстили Людовику XIII, но одновременно и насторожили его.

— Так что у вас там приключилось, если нужно задерживать меня перед выездом на охоту, которая развеет мою скуку?

— Ваше величество! Я никогда не решился бы напрасно беспокоить вас. Тем более когда речь идет о вымирающем искусстве охоты с ловчими птицами.

— Что верно, то верно, Ришелье. Не думаю, что меня в этом деле мог бы заменить кто-нибудь из здравствующих ныне государей.

— Ваше величество! Не только государи, никто на свете из ныне живущих не сравняется в столь славном деле с вашим величеством.

— Ну, кардинал, не иначе как кого-то из ваших гвардейцев проткнули шпагой. Говорите, кого и кто. Прикажу повесить.

— Нет, ваше величество, на этот раз речь идет лишь о пышной церемонии в вашем дворце.

— Интересно. Пышной, говорите? И это может развлечь?

— Несомненно, ваше величество, если вы согласитесь дать Большую аудиенцию в присутствии всего двора и всех иностранных послов посланцу самого святейшего папы Урбана Восьмого.

— Вот как? С чем же папа прислал его к нам?

— Он привез важнейшее письмо, будучи сам пожизненным узником, еще тридцать лет назад готовившим восстание против испанской короны.

— Опять Испания? Она уже надоела мне. Война с ней ваше дело, кардинал, на то вы и генералиссимус.

— Но речь идет не просто об Испании, ваше величество, а о признании в вашем лице первого из всех католических королей.

— Вот как? Кто нас признал таковым?

— Сам святейший папа Урбан Восьмой, освободив вдохновителя антииспанского заговора и направив его со своим личным посланием во Францию.

— Сколько же просидел в темнице этот гонец?

— Около тридцати лет, ваше величество. И перенес из-за испанцев тяжкие мучения. Это святой монах Кампанелла.

— Никогда не слышал. Но папе виднее. Если он его освободил в пику испанскому королю, хоть тот и родственник нашей супруги Анны Австрийской, все равно это нам приятно.

— Ради лишь этого чувства, ваше величество, я рекомендую вам дать этому гонцу святейшего папы Большую аудиенцию.

— А это не помешает моей охоте?

— Что вы, обо всем позабочусь я сам, во дворец будут приглашены все вассалы, и преданные, и строптивые, даже пользующиеся дарованными ям шляпными привилегиями.

— Вам непременно нужно, чтобы кто-то остался при мне с необнаженной головой?

— Ваше величество, я просто хочу поставить их в самое для них затруднительное положение.

— Как это вы сделаете?

— Об этом я могу лишь шепнуть вам на ухо. Оглянувшись, подошел к королю и произнес шепотом несколько слов, потом добавил уже громко:

— А что им останется после этого делать?

Людовик XIII расхохотался.

— Вы неоценимый человек, кардинал! Я не знаю, чем вас наградить за такую выдумку. Эвоэ! Виват! Хорошо, готовьте торжественную аудиенцию. Посмотрим на этого бедного монаха. Вот удивится-то! Да и не он один! Ришелье.

Ришелье был доволен. Все оборачивалось так, как он хотел.

В назначенный Ришелье день, когда Мазарини должен был привезти Кампанеллу в Лувр, во дворце собрались даже издалека приехавшие вассалы, не говоря уже о придворной знати, обретавшейся в Париже.

Приемный зал наполнился роскошно одетыми вельможами и прекрасными дамами в самых модных туалетах со сверкающими драгоценностями, а перья на мужских шляпах соперничали с ними в пышности и яркости.

По условию приема все были в шляпах. Очевидно, это связывалось с какой-то особенностью великосветского сборища, устроенного кардиналом с согласия короля.

Королева в сопровождении приближенных к ней дам опять же по предусмотренному кардиналом ритуалу вышла раньше супруга и сразу осветила своей необыкновенной красотой, оттененной простотой и изяществом наряда, весь зал.

Вельможи зашевелились, приветствуя королеву сниманием шляп, потом снова водружая их на место.

Наконец наступила торжественная минута, ждали выхода короля. Но он задерживался, ибо не было сигнала о приближении кареты с Мазарини и римским гостем.

Мазарини сидел в карете рядом с Кампанеллой и вел с ним многозначительную беседу.

— Отец Фома! Великий кардинал Ришелье предоставил вам убежище во Франции в надежде, что вы ему ответите признательностью и послушанием.

— Признательность моя исходит от сердца, монсеньор, но что вы имеете в виду под послушанием?

— Мне кажется, что не все ваши произведения восхищают его высокопреосвященство господина кардинала Ришелье. Быть может, в последующих своих сочинениях, которые вы напишете здесь, на свободе, не зная забот и трудностей существования, вы разъясните некоторые положения, высказанные вами в трактате о «Городе Солнца»?

— Что там требует разъяснения синьор Мазарини?

— Его светлость, как высший блюститель нравов, обеспокоен толкованием предложенной вами «общности» жен в вашем Городе.

— Ах боже мой! Конечно, в том моя вина! Неверно толковать употребленное мной слово «общность» как использование одной жены несколькими мужчинами. Это вульгаризация, монсеньор! Я лишь предоставляю свободу выбора в равной степени и мужчинам и женщинам, а вовсе не узакониваю распущенность. Напротив, нравы должны быть строгими, но в то же время не исходить из вечного права собственности супругов друг на друга, освященного церковью.

— Вы восстаете против брака, начало которому господь положил еще с Адама и Евы.

— Если вы обращаетесь к священному писанию, то можете вспомнить, что господь допустил после гибели Содома и Гоморры, чтобы род человеческий был продлен с помощью дочерей, а не жены, превращенной в соляной столб, спасенного Лота. Как известно, они, подпоив отца, поочередно соблазняли его, чтобы понести от него.

— Ну знаете, отец Фома, на вашем месте я не приводил бы таких примеров, — возмутился Мазарини.

— Но разве не более цинично восприятие «общности», то есть «не принадлежности» жен как призыв к распутству? Очевидно, нужно какое-то другое слово, которое исключило бы всякое иное толкование, кроме истинного.

— Вам представится возможность найти любые слова, чтобы разъяснить, что в Городе Солнца вы имеете в виду отнюдь не общность всего имущества, что противоречит всем законам, и человеческим и божеским.

— Общность имущества (здесь не надо искать другого слова!) должна быть полной, монсеньор. Беда, если дом или конь, поле, колесница или лодка могут принадлежать одному, а не другому, зарождая в нем зависть. Не должно существовать понятие: «это твое», «это мое»! Человеку может принадлежать только то, что на нем в условиях природы. Иначе зародыши «зла собственности» расцветут бесправием и тягой к преступности, к нищете и богатству, к праздности и страданиям и сведут на нет преимущества жизни в подлинно свободном от всех зол обществе.

— Мне трудно переубедить вас, отец Фома. Но я хотел бы вас предупредить, что не эти обреченные мечты, а заслуги противоборца испанской тирании вывели вас из темницы и вводят сейчас в королевский дворец Франции.

— Вы огорчаете меня, синьор Мазарини. Я надеялся, что монсеньор Ришелье разделяет мои убеждения, если просил папу о моем освобождении.

— Вы глубоко заблуждаетесь, отец Фома. Кардинал Ришелье не обращался к святейшему папе с такой просьбой. Папа Урбан Восьмой освободил вас по своей великой милости из сострадания. Что же касается молодого человека, защищавшего вас, то он был прислан в Рим, поскольку кардинал Ришелье предвидел ваше освобождение. И если вам будут оказаны какие-либо знаки внимания, то отнесите их не к своим необузданным мечтам, а только лично к себе.

— Мудрейший синьор Мазарини, я должен признаться вам, что эти мечтания и составляют мою сущность. По крайней мере так понимает меня господин Сирано де Бержерак, которого монсеньор Ришелье нашел нужным прислать за мной.

— Ничего не значащее совпадение. Этот молодой человек известен в Париже как крайне необразованный и тупой буян. Он мог вам наговорить немало глупостей, забывая, что он только солдат со шпагой, не больше.

— Как странно, — заметил Кампанелла, — он произвел на меня иное впечатление.

— Первое впечатление всегда обманчиво, отец Фома.

— Я привык думать наоборот, монсеньор.

— Вам придется отказаться от многих своих былых привычек.

— Но, обретя теперь свободу в вашей прекрасной стране...

— Мы с вами земляки, синьор Кампанелла. Эта страна прекрасна, если к ней должным образом относиться.

— Я хочу лишь воспользоваться ее гостеприимством, чтобы издать свое собрание сочинений.

Мазарини пожал плечами и загадочно произнес:

— Сколько успеете, отец Фома. Долгой вам жизни на свободе!

Карета въезжала в Лувр.

Конечно, в числе приглашенных туда на торжественный акт Большой аудиенции были граф и графиня де Ла-Морлиер и состоящий при них маркиз де Шампань.

Предок мужа графини Мишеля де Ла-Морлиер получил в свое время по прихоти угодного англичанам безумного короля Карла VI право не снимать шляпы перед французским королем в знак заслуг перед английской короной.

Сам Мазарини письменно от имени кардинала Ришелье напомнил графу о возможности показать перед всеми себя как особо привилегированного по сравнению с другими дворянами, и потому он был сегодня особенно напыщен и чем-то напоминал индейского петуха.

Был он тучен до невозможности я по сравнению с маркизом де Шампань казался горой рядом с мышью. При его завидном росте шляпа, украшенная отборными перьями, возвышалась над всеми. И головные уборы других вельмож, обладающих подобной же «шляпной привилегией», тонули в толпе.

— Ну, мадам, — шептал маркиз де Шампань, — сегодня и на вас, а следовательно, и на меня, падет сияющая тень не снятой перед королем шляпы вашего достойного супруга.

— Ах, маркиз, я умираю от любопытства, чем все это вызвано?

— Ах боже! Это уже известно всему Парижу, я был в двух или трех салонах, где об этом только и говорят.

— Что же там говорят, почему вы молчите?

— Я не могу молчать, графиня, я никогда не молчу, в этом моя особенность, мой дар и мое несчастье, если хотите!

— Я хочу, чтобы вы не молчали. Именно это хочу.

— Извольте. Весь парижский свет говорит о причуде его высокопреосвященства, который представит королю человека, желающего отменить браки и сделать всех дам доступными любым мужчинам.

— Боже, какой ужас! — воскликнула графиня. — Впрочем, в этом что-то есть.

— Конечно, есть, графиня, все с вожделением ждут такого указа короля. Однако общими должны стать и дворцы, и сундуки с золотом, земли и замки, словом, все, чем вы обладаете.

— Я обладаю и еще кое-чем.

— Это останется при вас, а вот имущество...

— Ах оставьте, маркиз! Я могла бы еще подумать, чтобы стать «общей» для избранных, но не нищей же!..

— Предвижу смуту, сударыня.

— Неужели король примет подобного смутьяна?

— Примет, и, как видите, у всех на глазах.

- Мне кажется, я потеряю сознание.
- Я поддержу вас, положитесь на меня.
- Мне уже душно, где мой веер?
- Он у вас в руке, мадам. А я — рядом.

И тут открылись парадные двери зала, в них показался торжественный церемониймейстер двора с посохом, увенчанным тремя лилиями.

— Его величество король Людовик Тринадцатый! — громогласно провозгласил он.

В нарядной шляпе, украшенной перьями, вошел король обычной своей порывистой походкой, вытянув вперед шею.

И, как по мановению незримой силы, множество шляп первых вельмож Франции, даже приехавших к этому дню издалека, взвились вверх и опустились к самым ногам, чтобы проделать замысловатые движения.

Король гордо шел в своей вызывающей пышной шляпе, зорко поглядывая по сторонам, чтобы убедиться, все ли обнажили перед ним головы.

Только три человека остались в шляпах: барон с полузабытой всеми фамилией, которому монарх даровал такое право на «английский манер», герцог Анжуйский, чьи предки настояли на подобном праве при присоединении Анжу к Франции, и граф де Ла-Морлиер, похожий на башню, увенчанную вместо крыши головным убором, столь же аляповатым, как и вся его фигура.

Придворные состязались в изяществе поклона перед королем, все, кроме упомянутых вельмож, которые ограничились лишь сотрясением перьев на шляпах.

Через зал была проложена ковровая дорожка, по которой и шествовал король, сопровождаемый кардиналом Ришелье. Закинув голову, тот ястребиным взором окидывал все вокруг.

Не дошел король и до половины зала между расступившимися придворными, как открылись противоположные двери и там появились два монаха в серых сутанах; смиренный будущий кардинал Мазарини и на шаг впереди него тревожно озирающийся недавний вечный узник Кампанелла.

И тут произошло невероятное.

Король обнажил голову перед скромным монахом, выражая тем самым высокое уважение, которое, если верить истории, короли вообще никому не оказывали.

Получилась невероятная ситуация. Весь зал, весь цвет французской знати стоял перед былым вечным узником, итальянским монахом с обнаженными головами, все, все, кроме... трех вельмож, имевших привилегии не обнажать головы перед королем. Перед королем! А если сам король обнажил?

— Снимайте шляпу, ваше сиятельство, — зашипел мужу своей любовницы маркиз де Шампань. — Делайте как король!

Граф де Ла-Морлиер не обладал быстротой соображения. Пока до его ума дошли слова маркиза, герцог и барон, бывшие в шляпах при выходе короля, обнажили головы. Теперь и графу де Ла-Морлиеру не оставалось ничего другого, как последовать их примеру.

Кардинал Ришелье, хоть и смотрел на Кампанеллу, все же заметил замешательство обладателей вредной «шляпной привилегии», запоздавших обнажить свои головы.

Кампанелла меж тем подошел к Людовику XIII и выразил ему свою величайшую преданность и признательность, затем он попросил разрешения передать монсеньору кардиналу Ришелье письмо святейшего папы Урбана VIII.

Ришелье взял пакет, благословив монаха, вскрыл печати и быстро пробежал папское послание.

— Так и есть, ваше величество, волею господ я предугадал содержание послания наместника святого Петра. Святейший папа не ошибся, выбрав Францию местом своего доверия.

Так французский монарх вместе с жесточайшим правителем Франции кардиналом Ришелье и всей французской знатью, оплотом реакции и абсолютизма, встречали с обнаженными головами Томмазо (Фому) Кампанеллу, автора великого сочинения «Город Солнца», послужившего столетия спустя одной из вех при разработке путей в коммунистическое завтра человечества.

Ришелье же утвердился в глазах всех как лицо, пользующееся особым вниманием папского престола. Вся эта задуманная им церемония дала ему повод во имя королевского величия отменить устаревшую, заимствованную у англичан «шляпную привилегию», унижавшую королевское достоинство. Отмена эта, забытая из-за своей незначительности историками последующих столетий, способствовала еще большему утверждению абсолютизма.

ЭПИЛОГ

Франция тем временем, участвуя в Тридцатилетней, как впоследствии ее назвали, войне, обретала европейскую гегемонию, что приписал себе в заслугу кардинал Ришелье, достигнув высшей власти и всеобщего почитания. Тенью на своей славе он считал лишь вынужденное участие в освобождении Кампанеллы. Он сделал все возможное, чтобы его современники поверили, будто освобождение автора «Города Солнца»

исходило только от папы Урбана VIII и было вызвано антииспанскими его настроениями. Однако Ришелье допускал, что истина может стать известной в будущем. Мазарини подсказал ему надежный способ исключить это. Он затребовал в порядке ватиканской ревизии церковные книги местечка Мовьер, где приходским священником был знакомый нам кюре. Тот не сразу заметил подмену в возвращенных книгах записи о рождении и крещении Савиньона, сына господина Абея Сирано Мовьер де Бержерака, а обнаружив ее, встревожился, хотя не видел никакого практического смысла в этой ошибке. Он оставил эту неверную запись в церковной книге без последствий. Путаница с крещением Сирано выяснилась лишь после его кончины, когда его друг детства Кола Лебре готовил предисловие к его посмертному изданию «Иного света», обнаружив по документам, что всю жизнь бывший его сверстником, Сирано по записи на пять лет моложе! Сирано во время своей бурной жизни, конечно, не подозревал о способе сделать его участие в освобождении Кампанеллы невозможным из-за якобы слишком юного возраста. Догадаться о подделке, как рассчитал Мазарини, не под силу историкам последующих поколений, которым истинная роль Сирано не будет понятна. Однако искателям истин приходит на помощь логика и воображение.

